АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ЖАРКОВ

ДОМОВОЙ НА ЗАРПЛАТЕ

История Юли и Того-Кто-Рядом



18+

Александр Жарков
Домовой на зарплате

https://litres.ru/74722197
SelfPub; 2026

Аннотация

Юля Ветрова осталась одна в бабушкиной однушке на Бабушкинской: работа, метро, кофе без сахара, разговоры вслух с тишиной. В верхнем ящике комода она находит письмо. Бабушка пишет: «Он уже у тебя. Не бойся. Но не забывай платить».

Он не показывает лица. Его выдают холодок на затылке, запах сухой травы и воска, скрип половицы. Он выполняет просьбы — от потерянных ключей до чужой болезни. Цена не объявляется заранее: одна ночь без сна, одно воспоминание, один год жизни, одно чувство. Юля узнаёт цену после.

Чем чаще она просит, тем труднее отказаться. Чем ближе он становится, тем тише квартира и тем меньше в ней Юли.

«Домовой на зарплате» — роман о зависимости, одиночестве и любви, которая умеет выставлять счёт.

Содержание

Часть первая. Осень. Наследство 6
Глава 1. Ключи 9
Глава 2. Комод 23
Глава 3. Письмо 35
Глава 4. Первая ночь 49
Глава 5. Кружка 60
Глава 6. Договор 73
Глава 7. Учительница 86
Глава 8. Чужая комната 99
Часть вторая. Зима. Привыкание 109
Глава 9. Снег 112
Конец ознакомительного фрагмента. 117

Александр Жарков
Домовой на зарплате

Александр Валерьевич Жарков
ДОМОВОЙ НА ЗАРПЛАТЕ
История Юли и Того-Кто-Рядом
роман
16+

Москва · 2026
Литературно-художественное издание
Александр Валерьевич Жарков
ДОМОВОЙ НА ЗАРПЛАТЕ
История Юли и Того-Кто-Рядом
Роман
© Александр Валерьевич Жарков, 2026
Все права защищены. Любое использование материалов без разрешения правообладателя запрещено.
Издание подготовлено в авторской редакции.
Москва · 2026
16+

АННОТАЦИЯ

Юля Ветрова осталась одна в бабушкиной однушке на

Бабушкинской: работа, метро, кофе без сахара, разговоры вслух с тишиной. В верхнем ящике комода она находит письмо. Бабушка пишет: «Он уже у тебя. Не бойся. Но не забывай платить».

Он не показывает лица. Его выдают холодок на затылке, запах сухой травы и воска, скрип половицы. Он выполняет просьбы — от потерянных ключей до чужой болезни. Цена не объявляется заранее: одна ночь без сна, одно воспоминание, один год жизни, одно чувство. Юля узнаёт цену после.

Чем чаще она просит, тем труднее отказаться. Чем ближе он становится, тем тише квартира и тем меньше в ней Юли.

«Домовой на зарплате» — роман о зависимости, одиночестве и любви, которая умеет выставлять счёт.

16+ · Роман · Современная русская проза

Он не злой. Он одинокий. Но не корми его слишком часто.
Мария Ильинична Ветрова, из письма внучке

Часть первая. Осень. Наследство



Он уже у тебя.

Глава 1. Ключи

Утро начинается с того, что я не помню, как уснула.

Я лежу на диване, укрытая пледом, в одежде, в которой была вчера. В комнате серо. За окном моросит. На потолке трещина у люстры, похожая на реку. Я смотрю на неё и пытаюсь вспомнить сон. Сон был про бабушку. Она сидела на кухне и что-то писала. Я спрашивала: «Что ты пишешь?» Она поднимала голову и говорила: «Инструкцию».

Больше ничего.

На часах семь сорок. Я должна была встать в семь. Я вскакиваю, бьюсь коленом о стол, шиплю. Вчерашняя чашка стоит на полу у дивана. В ней остался чай, тёмный, с плёнкой. Я беру её, несу на кухню, ставлю в раковину. Кран течёт. Я подкручиваю. Он течёт.

В маленькой квартире всё слышно. Как сосед сверху двигает стул. Как в трубах гудит вода. Как лифт останавливается на седьмом и не открывается. Как тикают часы в комнате — бабушкины, с маятником, который она заводила каждое воскресенье. Я не завожу. Часы стоят на десяти минутах девятого. Но тиканье есть. Я уже привыкла. Наверное, это не часы. Наверное, это дом.

Я умываюсь, смотрю в зеркало. Лицо как лицо. Бледное, с тёмными кругами. Мне двадцать восемь, а выгляжу я на тридцать два. Может, на тридцать три. Я не умею определять

возраст по себе. В зеркале я всегда одна и та же — уставшая женщина с пучком на голове и привкусом металла во рту.

Кофе я пью без сахара. Не потому что полезно. Потому что так быстрее. Я насыпаю ложку, заливаю кипятком, размешиваю и пью стоя, у окна. Во дворе дворник метёт листья. Листья мокрые, не метутся, он злится. На лавочке сидит женщина в красной куртке и кормит голубей. Голуби не едят. Женщина всё равно бросает.

Я надеваю пальто. Оно ещё не высохло с вечера. Я беру сумку, ключи, телефон. Ключи я всегда кладу в правый карман. Всегда. Это единственная моя привычка, которая помогает жить.

На лестнице пахнет сыростью. Я спускаюсь пешком, потому что лифт в последние месяцы стал застревать между этажами. На четвёртом встречаю соседа с собакой. Собака смотрит на меня и не виляет хвостом. Сосед говорит: «Доброе утро». Я говорю: «Доброе». Мы оба врём.

Метро на Бабушкинской в восемь утра — это отдельный вид чистилища. Люди стоят плотно, как книги на полке. Я втискиваюсь между мужчиной в куртке с капюшоном и женщиной с сумкой на колёсах. Пахнет мокрой шерстью, духами и кофе из стакана. Кто-то дышит мне в затылок. Я не оборачиваюсь. В метро лучше не оборачиваться.

Напротив сидит девочка лет семи. Она держит рюкзак на коленях и смотрит в телефон. Мать рядом читает сообщения. У обеих одинаковые брови. Я думаю: у меня тоже были

такие брови, как у мамы. Сейчас не помню. Я вообще плохо помню себя до четырёх лет. Мама говорит, что я была тихая. Бабушка говорила, что я была громкая. Кто из них врёт, я не знаю.

Я выхожу на Чистых прудах. До работы семь минут пешком. Издательство «Верста» занимает первый этаж старого дома с лепниной и вечной сыростью в подвале. В холле пахнет бумагой и кофе. На стене висит портрет основателя, мужчины с бородой, который смотрит на всех с укором. Я здороваюсь с охраной. Охрана не отвечает. Она смотрит сериал на телефоне.

Мой стол у окна. На столе — рукопись «Окружающий мир. 3 класс». Второе издание. Я проверяю запятые, повторы и то, что авторы называют «фактическими неточностями». Вчера я нашла фразу: «Дом — это место, где тебя ждут». Я подчеркнула её красным и написала на полях: «Слишком категорично». Автор не согласился. Автор считает, что дети должны знать, что их ждут. Я считаю, что не всех ждут. Но это не моя книга.

Олег садится напротив. У него новая рубашка, синяя, с узким воротом. Он спрашивает:

— Ты вчера до скольки?

— До семи.

— А я до восьми. Виктор Аркадьевич опять переделал концепцию.

— Какую концепцию?

— Обложки. Он хочет, чтобы на учебнике третьего класса был ребёнок, который смотрит в будущее.

— А сейчас кто?

— Сейчас там просто дерево.

— Дерево лучше.

— Вот и я говорю. Но он хочет ребёнка.

Он вздыхает так, будто на его плечах лежит вся российская образовательная система. Я не спорю. Я открываю рукопись. На полях — мои вчерашние пометки, аккуратные, как строчки в тетради. Я никогда не писала в тетрадях аккуратно. Бабушка говорила: «У тебя почерк, как у врача». Я говорила: «Я и есть врач, только текстов».

В двенадцать звонит Виктор Аркадьевич. Он вызывает меня к себе. Кабинет у него маленький, заставленный папками. На стенах — дипломы и фотографии с выставок. Он спрашивает про рукопись, потом про сроки, потом долго говорит о том, что «сейчас дети другие». Я киваю. В какой-то момент он говорит:

— Юля, вы не хотите перейти на более серьёзный проект?

— Хочу.

— Хорошо. Тогда после нового года.

После нового года. Он говорит это в сентябре, как будто новый год — это другая планета, до которой можно долететь. Я выхожу и понимаю, что не верю ни одному его слову. Но в груди всё равно теплится что-то маленькое. Надежда — это такой орган, который не отключается даже у уставших

людей.

В обед я иду в столовую в соседнем здании. Беру суп и гречку. Сажусь у окна. За окном — двор с детской площадкой, качели, мокрая листва. Я достаю телефон. Ира прислала фотографию: Соня в дождевике, счастливая, с зонтом. «Мы гуляем!» — пишет Ира. Я отвечаю: «Класс». Потом думаю, что «класс» — это слово из третьего класса. Я могла бы написать больше. Но не знаю что.

После обеда приходит мама. Не приходит. Звонит. Я вижу «Мама» на экране и не беру. Через минуту она пишет: «Позвони, когда сможешь». Я пишу: «На работе». Она пишет: «Хорошо». Мы обе хорошие. Мы обе не звоним.

В шесть я выхожу. Дождь кончился, но воздух мокрый. На Чистых прудах пахнет водой и мокрым асфальтом. Я иду к метро. У перехода стоит старуха с цветами. Цветы в целлофане, хризантемы, белые и жёлтые. Я покупаю три белые. Не знаю зачем. Бабушка любила хризантемы. Я везу их домой, как будто она меня ждёт.

Я подхожу к двери и понимаю, что ключей нет.

Я стою на лестничной клетке, держу пакет с молоком и хлебом. Пакет мокрый, молоко булькает. За дверью соседа работает телевизор. Голос диктора говорит про курс, потом про погоду, потом опять про курс. В подъезде пахнет мокрой обувью и чужой едой. Кто-то жарит лук.

Я проверяю карманы. Оба. Потом сумку. Потом опять карманы. Потом сажусь на корточки и смотрю в щель под

дверью, хотя ключей там быть не может. Ключи не умеют просачиваться. Ключи вообще ничего не умеют. Они просто есть или их нет.

Их нет.

Я звоню в дверь. Конечно, никто не открывает. Я звоню ещё раз, длинно, и звук уходит в квартиру, как в колодец. Потом достаю телефон. Ира не отвечает. Мама не отвечает. Мама вообще редко отвечает до восьми, у неё вечером сериал и чай. Я пишу ей: «Всё нормально, я дома». Это неправда, но она прочитает и успокоится. Или не прочитает.

Я стою ещё минуту. Потом говорю вслух, тихо, без надежды:

— Ну помоги же.

Это не молитва. Это даже не просьба. Так говорят с заевшим краном или с принтером. В пустоту, чтобы не молчать. Бабушка всегда говорила: «Не говори в пустоту, там кто-нибудь может услышать». Я смеялась. Она не смеялась.

В кармане пальто что-то звенит.

Не в моём пальто. В бабушкином. Оно висит на вешалке у двери, тёмно-синее, с потемневшим меховым воротником, слишком широкое в плечах. Я не надевала его ни разу. Даже когда переезжала. Даже когда было холодно. Я не могла заставить себя надеть вещь, которая ещё пахнет ею.

Я подхожу. В кармане, глубоко, под сложенным платком, лежат ключи. Мои ключи. С брелком из прозрачного пластика, внутри — выцветшая фотография кота. Бабушка по-

дарила мне этот брелок, когда я поступила. Кот был не мой. Кот был с календаря. Но она сказала: «Пусть будет, ты любишь котов». Я люблю котов.

Ключи тёплые.

Не как от кармана. Как от руки.

Я стою с ними в ладони, и на затылке у меня холодок. Не от сквозняка. Окна закрыты. Я слышу, как в глубине квартиры, за закрытой дверью комнаты, скрипит половица. Один раз. Коротко.

Потом тишина.

Я открываю дверь.

В прихожей темно. Я включаю свет, и лампочка мигает, как всегда. Пакет с молоком я ставлю на тумбу. Снимаю пальто. Вешаю рядом с бабушкиным. Оно кажется мне меньше, чем раньше.

Я ставлю цветы в банку. В вазу боюсь: ваза бабушкина, тонкая, она может разбиться. Банка стоит на подоконнике, и в ней отражается окно. Я смотрю на неё и думаю: вот и всё, что осталось от дня. Банка с цветами. Три белые хризантемы. Никто не умер.

— Спасибо, — говорю я и осекаюсь.

В квартире становится холодно. Резко, как будто открыли окно. Я оборачиваюсь. Окно закрыто. Форточка закрыта. Холод идёт не от окна. Он идёт отовсюду и ниоткуда, ровный, как из морозильника.

— Я не то сказала, — говорю я тихо. — Я не прошу.

Холод держится ещё секунду. Потом отпускает. Медленно, как будто кто-то сжалился.

Я стою в прихожей и смотрю на своё отражение в тёмном стекле. Я не знаю, что это было. Я не хочу знать.

Вечер идёт как обычно. Я разогреваю суп из банки, ем стоя, смотрю в телефон. В ленте кто-то купил квартиру, кто-то родил, кто-то открыл бизнес. Я листаю и чувствую, как во мне становится тише. Не спокойнее. Тише, как в вате.

На работе сегодня Олег сказал: «Юля, ты какая-то потухшая». Сказал не со злом. Сказал так, как говорят про старую лампочку, которую пора заменить. Я ответила: «Я всегда такая». Он засмеялся. Я тоже. Потом пошла в туалет и посидела там пять минут, просто чтобы никто не видел моего лица.

Мне двадцать восемь. Я младший редактор в издательстве учебной литературы. Я проверяю запятые в учебниках для третьего класса. «Окружающий мир». В этом мире всё объяснимо: вода мокрая, листья осенью падают, родители любят детей. В учебниках всё так. В жизни — не всегда.

Я мою чашку. Ставлю её на полку. Она встаёт криво. Я поправляю. Она встаёт криво. Я поправляю ещё раз. Потом закрываю шкаф и иду в комнату.

В одиннадцать звонит Ира.

Я знаю, что это она, ещё до того, как беру телефон: у неё стоит рингтон, который я поставила случайно и не поменяла. Что-то бодрое, из рекламы. Я смотрю на экран. «Ира». Беру.

— Ты не спишь? — спрашивает она шёпотом.

— Нет.

— Я на кухне. У нас Соня не спит, у неё зубы. То есть не зубы, зубы уже все. Что-то с ушами. Мы были у врача, он сказал, что всё нормально, но она плачет. Дима спит, как убитый. Я сижу и ем печенье.

— В час ночи?

— В полвторого. Не осуждай.

— Я не осуждаю.

— Ты какая-то тихая.

— Я всегда тихая.

— Нет. Ты всегда злая. Это разные вещи.

Я смеюсь. Ира тоже. В трубке слышно, как она жуёт. Потом говорит:

— Приезжай в субботу. Дима сделает шашлык, Соня тебе покажет свой рисунок. Она нарисовала кота. Кот похож на собаку, но она говорит, что это кот. Кирюха опять заболел, но это ерунда, сопли.

— В субботу не могу.

— Почему?

— Работа.

— В субботу?

— Да.

Это ложь. В субботу у меня нет работы. В субботу у меня ничего нет. Но я не могу поехать к Ире, потому что там будет нормальная жизнь, а я не знаю, что делать с нормальной жизнью. Я смотрю на неё, как на чужой язык.

— Ладно, — говорит Ира. — Ты знаешь, что я тебя люблю?

— Знаю.

— Тогда почему ты не приезжаешь?

— Потому что я устала.

— От чего?

Я молчу. В трубке скрипит стул. Ира вздыхает.

— Ладно. Позвони, когда сможешь.

— Позвоню.

Мы прощаемся. Я кладу телефон на стол. Смотрю на него. Он гаснет. В чёрном экране отражается моё лицо, и оно кажется мне чужим.

Я вспоминаю, как бабушка ставила под порог соль. Каждый месяц, первого числа, брала щепотку и сыпала в угол, у двери. Я спрашивала: «Зачем?» Она говорила: «От сквозняка». Я говорила: «Соль не закрывает сквозняк». Она говорила: «Эту дверь закрывает». Я тогда не поняла. Сейчас — почти.

Я иду в комнату. По дороге останавливаюсь и смотрю на порог. Там, в углу, белеет тонкая полоска. Кто-то сыпал соль недавно. Я не сыпала. У меня нет соли.

Комната большая для однушки. Диван, стол, комод, шкаф, кресло. На полу — старый паркет, скрипучий, с тёмными полосами. Я сплю на диване. Кровать бабушки стоит в углу, застеленная, как будто она сейчас вернётся. Я не могу её разобрать. Не могу снять бельё. Не могу постирать. Мне

кажется, если я её разберу, бабушка умрёт окончательно.

Я ложусь. Укрываюсь пледом. Телефон показывает двадцать три сорок. Я включаю подкаст про людей, которые бросили работу и уехали к морю. Голос у ведущей бодрый, как утренняя зарядка. Я слушаю пять минут, потом выключаю. В квартире становится слышно всё.

Холодильник. Трубы. Лифт за стеной. Дождь.

И ещё что-то.

Не звук. Ощущение. Как будто в комнате есть ещё один воздух. Он не двигается, но он есть. Я лежу с открытыми глазами и смотрю в потолок. Потолок белый, с трещиной у люстры. Трещина похожа на реку.

Я говорю вслух:

— Если ты есть, не мешай.

Тишина.

— И не скрипи. Я знаю, что это дом. Дома скрипят.

Дом не отвечает.

Я поворачиваюсь на бок. Подушка тёплая. Я закрываю глаза. И в этот момент на моё плечо что-то опускается.

Не рука. У руки есть вес и форма. Это просто давление. Тёплое, лёгкое, как если бы кто-то положил ладонь и сразу убрал. Я замираю. Сердце начинает бить в горле. Я считаю до пяти. Давление не повторяется.

Я лежу так долго. Потом сажусь. Включаю свет. В комнате никого. Конечно, никого. Я смотрю на кровать бабушки. Подушка на ней лежит чуть иначе, чем утром. Или мне ка-

жется.

Я беру телефон. Хочу написать Ире: «У меня в квартире кто-то есть». Но это звучит как сумасшествие. Я пишу: «Ты спишь?» Ира не отвечает. Она спит. У неё дети, муж, нормальная жизнь. У неё нет времени на мои ночные фокусы.

Я иду на кухню. Пью воду. Смотрю в окно. Во дворе горят два фонаря. Один мигает. На лавочке сидит кто-то в капюшоне, но это, наверное, пакет с мусором. Я не разглядываю.

На кухне пахнет сухой травой.

Не едой. Не пылью. Сухой травой и воском. Так пахли бабушкины свечи, которые она зажигала перед иконами. Я не знаю, откуда здесь этот запах. Окно закрыто. Форточка закрыта. Я проверяю. Запах остаётся.

— Ладно, — говорю я. — Кто бы ты ни был, выключи запах.

Запах не выключается.

Я возвращаюсь в комнату. Ложусь. Смотрю в потолок. Я не верю в домовых, духов и прочую ерунду. Я редактор учебной литературы. Я знаю, что мир состоит из параграфов и правил. В параграфе про окружающий мир нет места сухой траве в закрытой квартире.

Но я также знаю, что ключи были в кармане пальто, которое я не надевала.

И я знаю, что пахнет.

Я лежу до утра. Сон приходит в пять, тяжёлый, как чужая шуба. Мне снится бабушка. Она сидит на кухне и что-то пи-

шет. Я спрашиваю: «Что ты пишешь?» Она поднимает голову и говорит: «Инструкцию». Я хочу спросить, какую, но не успеваю.

Будильник звонит в семь.

Я встаю с ощущением, что всю ночь таскала мебель. На кухне чашка стоит не там, где я её оставила. Я ставлю её на место. Она снова оказывается не там. Я смотрю на неё секунду. Потом беру и переставляю в шкаф, подальше.

На работе я три раза перечитываю один абзац про круговорот воды в природе. Вода испаряется, конденсируется, выпадает. Всё возвращается. Я думаю: а что возвращается ко мне?

Олег приносит кофе. Говорит:

— Ты сегодня как зомби.

— Спасибо, — говорю я. — Ты очень внимательный.

Он смеётся. Я тоже. В этот момент у меня на затылке снова холодок. Я оборачиваюсь. За спиной — шкаф с папками и окно. За окном — серое утро, мокрые крыши, провода.

Никого.

Я возвращаюсь к круговороту воды. Вода испаряется. Вода возвращается. В учебнике это называется равновесием.

Дома вечером я первым делом проверяю бабушкино пальто. Карман пустой. Ключи лежат в моей сумке, где я их оставила утром. Всё на месте.

Я стою в прихожей и слушаю тишину. Она не пустая. Она ждёт.

— Ладно, — говорю я тише. — Живи.
И иду мыть чашку.

Глава 2. Комод

В субботу я решаю разобрать комод.

Не потому что готова. Потому что нотариус просит документы. «Свидетельство о праве собственности, договор передачи, технический паспорт». Я записала это на листке и повесила на холодильник. Листок висит три недели. Каждый раз, когда я открываю холодильник, он смотрит на меня, как укор.

Утром я встаю раньше будильника. За окном серо, моросит. В квартире холодно. Батареи ещё не включили. Я надеваю бабушкин свитер — толстый, коричневый, с растянутыми локтями. Он пахнет нафталином и немного — сухой травой. Я не думаю об этом. Я просто надеваю.

На кухне пью кофе, смотрю в телефон. Ира прислала видео: Соня танцует под песню, которую я не знаю. Я смотрю пять секунд и выключаю. Потом включаю снова. Смотрю до конца. Соня смеётся. Ира за кадром говорит: «Покажи тёте Юле, как ты умеешь». Тётя Юля сидит на кухне в бабушкином свитере и не знает, что сказать.

Перед комодом я звоню маме.

Она берёт после третьего гудка. У неё всегда одинаковый голос, как будто она только что оторвалась от чего-то важного, хотя я знаю, что она сидит на кухне и смотрит сериал.

— Да, Юля.

— Привет. Я разбираю бабушкины документы.

— Ну.

— Нотариус просит свидетельство и договор. Они в комоде. Я хотела спросить, ты не знаешь, где именно?

— В верхнем ящике. Под синей папкой.

— Я его ещё не открыла. Он заперт.

— Значит, ключ где-то есть.

Пауза. В трубке слышно, как работает телевизор. Кто-то в нём смеётся. Мама приглушает звук.

— Мам.

— Что?

— Бабушка тебе ничего не говорила? Про документы? Про... — я не знаю, как спросить. — Про верхний ящик?

— Говорила, что там бумаги.

— А ещё?

— Юля, я не помню. Я давно там не была.

Она говорит это спокойно. Я слышу в её голосе не холод, а усталость. Мы обе устали. Только она устала от своей жизни, а я — от своей.

— Ладно, — говорю я. — Найду.

— Найдёшь, — соглашается она. — Ты у меня упорная.

Я не знаю, комплимент это или диагноз. Мы прощаемся. Я кладу телефон на стол и смотрю на него. «Ты у меня упорная». Мама редко говорит «у меня». Обычно она говорит «ты». «Ты упорная». Как будто я сама по себе, без неё.

Я допиваю кофе. Иду в комнату. Комод стоит у стены,

между окном и шкафом. Тёмный, тяжёлый, с семью ящиками. Верхний ряд — три маленьких. Средний — два больших. Нижний — два совсем больших, для белья. На комоде — кружевная салфетка, очки, фарфоровая балерина с отбитой рукой. Я трогаю балерину. Она холодная.

— Ну, — говорю я вслух. — С чего начнём?

Дом не отвечает. Дом ждёт.

Я начинаю снизу. Это правило я вычитала в какой-то статье про уборку: «Начинайте с того, что не вызывает эмоций». Нижние ящики не вызывают эмоций. Там бельё. Простыни, наволочки, полотенца, сложенные в аккуратные прямоугольники. Бабушка складывала бельё так, что оно становилось похожим на книги. Я вынимаю стопку. Пахнет стиральным порошком и старым деревом. На дне — газета за 2014 год. Я разворачиваю. В газете статья про урожай и телепрограмма. Я смотрю на дату. Бабушка хранила газету одиннадцать лет. Может, собиралась прочитать.

Под газетой — коробка из-под конфет. В коробке пуговицы. Много пуговиц. Металлические, пластмассовые, перламутровые. Я сажусь на пол и перебираю их. Это странное занятие: держать в руках чужие пуговицы и думать о том, что каждая из них когда-то была пришита к какой-то вещи, которую носил человек, которого больше нет. Я нахожу пуговицу от бабушкиного пальто. Синяя, с четырьмя дырочками. Я помню это пальто. Бабушка носила его в ноябре, когда ходила за хлебом. Оно было синее, с воротником из искус-

ственного меха. Я в детстве гладила этот воротник. Он был мягкий и колючий одновременно.

Я кладу пуговицу в карман свитера. Не знаю зачем. Наверное, чтобы она была не одна.

Я помню, как бабушка разбирала этот комод. Мне было лет семь. Она доставала вещи и раскладывала их на диване: простыни, полотенца, старые платья. Я сидела рядом и задавала вопросы. «А это что? А это чьё? А почему ты не выбрасываешь?» Бабушка отвечала терпеливо, как отвечают детям, которые ещё верят, что у каждой вещи есть история.

— Это твоего деда рубашка. Он в ней на свадьбу ходил. Не на нашу, на чужую. Мы потом эту свадьбу вспоминали двадцать лет.

— А это?

— Это твоей мамы платье. Она в нём в садик ходила. Ей было четыре.

— А почему оно такое маленькое?

— Потому что она была маленькая.

Я брала платье и прикладывала к себе. Оно было мне мало. Я не понимала, как мама могла быть такой маленькой. Мне казалось, она всегда была взрослой. Наверное, ей тоже казалось, что я всегда была взрослой.

Бабушка закрывала ящики по одному. Верхний, правый, она никогда не открывала при мне. Я спросила один раз: «А что там?» Она сказала: «Бумаги». Я спросила: «Какие?» Она сказала: «Скучные». И всё. Больше я не спрашивала. В дет-

стве я думала, что там лежат деньги или письма от тайного возлюбленного. Взрослой я думала, что там документы на квартиру. Оказалось, и то и другое. Только возлюбленный был не тайный. Он был вообще не человек.

Я открываю средние ящики. Документы. Коммунальные квитанции, старые рецепты, инструкции к технике, которая уже сломалась. Я нахожу паспорт бабушки. Он ещё не сдан. В паспорте фотография: женщина лет шестидесяти, с короткой стрижкой и строгим лицом. Я смотрю на неё и не узнаю. Бабушка всегда казалась мне старой. А здесь она просто взрослая. Моложе, чем я сейчас. Это открытие бьёт меня под дых. Я закрываю паспорт и кладу его в сторону.

В нижнем ящике среднего ряда — фотографии. Много. Чёрно-белые, цветные, выцветшие. Я вынимаю пачку. На верхней — бабушка с дедом. Они стоят на фоне реки. Бабушка в платье в горох, дед в рубашке с коротким рукавом. Дед смеётся. Я не помню его смеющимся. Я помню его в кресле, с газетой и запахом табака. Он умер, когда мне было двенадцать. Мне казалось, он всегда молчал. На фотографии он смеётся.

Я переворачиваю снимок. На обратной стороне — «Торжок, 1963». Торжок. Бабушка родилась под Торжком. Она рассказывала про дом, про реку, про яблоню в саду. Я слушала вполуха. Теперь я не помню подробностей. Я помню только, что она говорила: «В доме всегда кто-то был. Даже когда никого не было».

Деда я помню плохо. Помню кресло у окна, газету, запах табака. Он был большой, молчаливый, с руками в трещинах. Работал на заводе, водил «Москвич», любил рыбачить. Когда я приезжала, он говорил: «Ну, что нового, учёный?» Я рассказывала про школу. Он слушал и кивал, как будто я говорила что-то важное. Может, для него это и было важно.

Он умер, когда мне было двенадцать. Я помню больницу, коридор с зелёными стенами, бабушку в чёрном платке. Помню, как мама сказала: «Всё, Юля, поехали». Я не плакала. Я не понимала, что это навсегда. Наверное, в двенадцать ещё не понимают. Или понимают, но не верят.

После похорон бабушка стала другой. Она всё время что-то искала: очки, ключи, рецепты. Один раз спросила: «Юля, а как звали твоего деда?» Я сказала: «Николай». Она кивнула и записала на листке. Я тогда подумала, что она шутит. Потом она спрашивала ещё раз. И ещё. К семидесяти она забыла его имя совсем. Врач говорил: возраст. Я думала: горе. Теперь я знаю: это была плата.

Мама на похоронах не плакала. Она стояла ровно, в чёрном пальто, и держала сумку обеими руками, как будто боялась, что её вырвут. Люди подходили, говорили соболезнования. Она кивала. Я стояла рядом и держала её за локоть. Мне казалось, если я отпущу, она упадёт. Она не упала. Она вообще никогда не падала. Иногда мне хотелось, чтобы она упала. Чтобы я могла её поднять.

Я смотрю на фотографию. Дед смеётся. Бабушка смотрит

в объектив, серьёзная, как на паспорте. Между ними — расстояние в полшага. Они не держатся за руки. Может, так было принято. Может, они уже тогда устали друг от друга. Я не знаю. Я знаю только, что она забыла его имя, а он не мог её защитить. Никто никого не может защитить. Мы просто стоим рядом и делаем вид, что можем.

Я откладываю фотографию. Беру следующую. На ней — мама. Молодая, лет двадцати, с длинными волосами и круглыми глазами. Она стоит у окна, держит чашку. За окном снег. Мама улыбается. Я не помню, чтобы она так улыбалась. Сейчас она улыбается только уголком рта, вежливо, как в поликлинике.

Следующая фотография — я. Лет пять. В платье с воротником, с бантом на голове. Сижу на полу и рисую. Рядом — бабушкины ноги в тапках. Я помню этот пол. Помню, как пахло краской. Помню, как бабушка говорила: «Ты у меня художница». Больше ничего не помню. До четырёх лет — чёрная дыра. Я уже давно не думаю об этом. У всех плохая память на детство. У всех.

Я собираю фотографии в пачку. Откладываю. В нижнем ящике, под ними, лежит что-то твёрдое. Я запускаю руку. Это шкатулка. Маленькая, деревянная, с резной крышкой. Я открываю. Внутри — кольцо, серёжка без пары, крестик на цепочке и ключ. Маленький, латунный, с бородкой. Он не похож на ключ от квартиры. Он похож на ключ от чего-то старого.

Я смотрю на верхний ряд ящиков. Три маленьких. Левый открывается легко — там нитки и иголки. Средний открывается — там аптечка, просроченные таблетки, бинт. Правый не открывается. Я тяну. Он не поддаётся. Я тяну сильнее. Дерево скрипит, но ящик стоит.

Я вспоминаю последний месяц бабушки. Она лежала в больнице, в палате на четверых. У окна лежала женщина с переломом шейки бедра и всё время звала сына. У двери — тихая старушка, которая не говорила вообще. Бабушка лежала посередине, худая, с жёлтым лицом и руками, которые стали слишком большими для её тела.

Я приходила после работы. Приносила сок, печенье, носки. Она почти не ела. Смотрела в окно. Один раз сказала:

— Юля, ты не сердись на маму.

— Я не сержусь.

— Сердишься. Я знаю. Ты вся в меня.

Я поправила ей одеяло. Она взяла меня за руку. Пальцы у неё были холодные, сухие, как ветки.

— Если я что-нибудь скажу не то, — сказала она, — ты не пугайся. Это не я. Это он.

— Кто он?

Она посмотрела на меня. Глаза у неё были ясные, как в молодости. Потом она моргнула, и взгляд стал другим, мутным, старческим.

— В верхнем ящике, — сказала она. — Правом. Ключ в чае.

— В каком чае?

— В чае, — повторила она и закрыла глаза.

Я тогда решила, что это обезболивающие. Или возраст. Или страх. Я спросила у врача, не надо ли что-то поменять. Врач сказал: «Она в сознании, но устала». Я посидела ещё полчаса и уехала. На следующий день она уже не говорила. Через неделю её не стало.

Я смотрю на правый ящик. «Ключ в чае». В жестяной банке из-под чая. Бабушка сказала это за месяц до смерти. Я не послушала. Я никогда не слушала.

Я сажусь на пол, смотрю на ключ в руке. Потом встаю, иду на кухню. Там, в шкафчике, стоит жестяная банка из-под чая. Бабушка хранила в ней что-то, я не знаю что. Я открываю. Внутри — сухие чаинки, обрывок рецепта и ещё один ключ. Тоже маленький, но другой. Я возвращаюсь в комнату. Первый ключ не подходит к верхнему ящику. Второй — подходит.

Замок щёлкает.

Ящик выезжает медленно, как будто ему тяжело.

Внутри — папка. Тёмно-синяя, с завязками. На папке надпись бабушкиным почерком: «Документы». Я развязываю. Свидетельство о собственности. Технический паспорт. Договора передачи нет. Я перебираю бумаги ещё раз. Нет. Может, он лежит где-то ещё. Может, нотариус обойдётся. Я откладываю эту мысль. Потом. Сейчас — конверт.

Под бумагами — конверт. Белый, без марки. На конверте

написано: «Юле. Лично».

Почерк бабушки. Буквы ровные, с наклоном вправо. Внизу — маленький крестик. Она всегда ставила крестик вместо подписи. Говорила: «Чтобы не подделали». Как будто кому-то нужно было подделывать её подпись.

Я держу конверт. Он тонкий. Внутри — несколько листов. Я не открываю. Я сижу на полу, в бабушкином свитере, среди пуговиц и фотографий, и смотрю на конверт. В комнате тихо. Так тихо, что я слышу, как у меня стучит кровь в ушах.

За окном проезжает машина. Вода из-под колёс шуршит по асфальту. В соседней квартире кто-то роняет ложку. Мир продолжается. А в этой комнате как будто остановился воздух.

На затылке у меня холодок. Я не оборачиваюсь. Я знаю, что за спиной никого. Я знаю, что это не так.

— Это ты? — спрашиваю я.

Тишина.

— Это ты положил ключи в пальто?

Тишина.

Я смотрю на конверт. Потом на комод. Потом на окно. В стекле отражается комната: я на полу, ящики, шкаф. И ещё что-то. Я не успеваю разглядеть. Отражение мутное, как всегда. Я отвожу взгляд.

— Ладно, — говорю я. — Если это ты, скажи честно: ты умеешь читать?

Тишина. Потом — скрип. Короткий, в районе двери. Как

будто кто-то переступил с ноги на ногу.

Я смеюсь. Смех выходит нервный, короткий. Я зажимаю рот рукой. Мне вдруг становится страшно не от того, что кто-то есть, а от того, что я с ним разговариваю. Как с котом. Как с пустотой. Как бабушка.

Я кладу конверт на стол. Встаю. Подхожу к окну. На улице дождь усилился. Люди идут под зонтами, спрятав лица. На детской площадке никого. Качели качаются от ветра. Я смотрю на них и думаю: если я сейчас обернусь, конверт будет лежать на другом месте. Или не будет. Я не оборачиваюсь. Я стою и смотрю на качели, пока они не перестают качаться.

Потом сажусь за стол. Включаю лампу. Конверт лежит передо мной. Белый, тонкий, с надписью «Юле. Лично». Я беру нож для бумаг. Вожу им под клапаном. Бумага сопротивляется, потом поддаётся. Внутри — три листа, исписанных с двух сторон. Почерк ровный, но в некоторых местах буквы прыгают, как будто рука уставала.

Я разворачиваю первый лист.

«Юленька.»

И всё. Дальше я не читаю. Не потому что не хочу. Потому что в этот момент в прихожей звонит телефон. Не мой. Бабушкин. Старый, с диском. Он стоит на тумбе и звонит так, как будто бабушка сейчас снимет трубку.

Я иду в прихожую. Телефон замолкает. Я стою перед ним. Диск блестит. На нём нет пыли. Я касаюсь его пальцем. Металл холодный.

В комнате, за спиной, что-то тихо скрипит. Я не оборачиваюсь.

— Ладно, — говорю я. — Я прочитаю.

И возвращаюсь к столу.

Глава 3. Письмо

Я читаю письмо три раза.

Первый раз — быстро, как читают инструкцию к лекарству, которое всё равно не собираешься пить. Второй — медленно, спотыкаясь о знакомые буквы. Третий — вслух, чтобы услышать бабушкин голос. Он получается плохо. Я не умею подражать ей. У неё был голос с хрипотцой, как будто она всю жизнь говорила через силу. У меня голос ровный, городской, без корней.

ПИСЬМО БАБУШКИ · I

Юленька.

Если ты читаешь это, значит, я не успела сказать главное. Я собиралась. Каждый раз собиралась — и откладывала. Сначала ты была маленькая. Потом подросток. Потом у тебя была эта работа, потом я заболела. Теперь вот пишу. Руки дрожат, но пишу.

Не выбрасывай. Даже если не поверишь. Особенно если не поверишь.

Он уже у тебя. Он был у меня сорок лет. Может, больше — я не помню. Был у моей матери — не у неё, у дома, но потом пошёл за мной. Теперь он твой. Я не знаю, как это объяснить, чтобы ты не испугалась. Он не стоит в углу и не смотрит. Он вообще не показывает себя. Он просто есть —

как сквозняк, как половица, как запах, который не от чего.

Ты его почувствуешь. Холодок на затылке. Сухая трава и воск. Иногда — рука на плече. Не оборачивайся. Это не опасно. Это он.

Он делает, о чём попросишь. Не сразу, не как в сказке, но делает. Только не проси много. И не проси за других.

Запомни, пока читаешь. Я напишу коротко, потому что длинно ты не дочитаешь.

01 Не проси в полночь. В полночь он ближе, и цена другая.

02 Не благодари вслух. «Спасибо» он тоже слышит как просьбу.

03 Не называй его по имени. У него нет имени. Если назовёшь — придёт.

04 Не оставляй после заката открытой балконную дверь.

05 Если пахнет гарью — молчи и жди. Ничего не проси в этот момент.

06 Не проси за других. Особенно за маму.

07 Соль под порог. Меняй раз в месяц. Не спрашивай зачем.

08 Если он греет плечо — не оборачивайся.

Это не всё. Но остальное я не могу написать. Не потому что нельзя, а потому что не помню.

Вот тебе моё главное признание: я не помню половину своей жизни. Я помню тебя. Тебя я помню всю. Каждый день, каждую царапину, каждое платье. Это единственное, что осталось целым.

Он не злой. Он одинокий. Но не корми его слишком часто. Я кормила. Сорок лет. И теперь не могу вспомнить, как звали моего мужа. Твоего деда. Я помню, что его звали Николай, потому что записала. А лица не помню. Не пугайся. Это не он плохой. Это я не остановилась вовремя.

Юля. Если станет совсем тихо — не радуйся. Тишина — это когда он уже взял.

Не спрашивай, чем платила я. Я не отвечу. Я уже не помню.

Целую тебя в макушку.

Твоя бабушка.

P.S. Если найдёшь второе письмо — не читай сразу. Прочитай, когда уже нельзя будет не читать.

Когда я заканчиваю, в комнате становится очень тихо.

Не так, как ночью. Дневная тишина другая: в ней слышно машины, лифт, чью-то музыку за стеной. Но сейчас я слышу только своё дыхание. И ещё — как тикают часы. Те, которые стоят.

Я кладу листы на стол. Разглаживаю рукой. Бумага тонкая, почти папиросная, с водяными знаками. В правом верхнем углу — бурое пятно, похожее на чайное. Внизу — крестик. Бабушкин крестик, короткий и косой.

Я смеюсь. Сначала тихо. Потом громче. Смех выходит странный, как кашель. Я смеюсь и говорю вслух:

— Домовой. На зарплате. Господи, бабушка.

Я встаю. Прохожу по квартире. В прихожей — никого. В ванной — никого. На кухне — никого. Я открываю шкаф. Платья висят рядком, как школьники на линейке. Я закрываю. Заглядываю под кровать. Там пыль и старый чемодан. Я открываю балкон. Холодный воздух бьёт в лицо. На балконе — ящик с банками и сушёная рябина. Никого.

В прихожей я трогаю бабушкин телефон. Диск холодный. Провод обрезан — давно, аккуратно, под самый корень. Я не помню, кто его обрезал. Наверное, бабушка. Наверное, когда отключала стационарный. Но тогда зачем он звонил вчера?

Я не нахожу ответа. Я вообще больше ничего не нахожу.

— Ну и где ты? — спрашиваю я.

Тишина.

— Покажись, если ты есть.

Тишина. Потом — скрип. Где-то в районе шкафа. Я оборачиваюсь. Шкаф стоит. Дверца закрыта. Я подхожу, открываю. Платья. Пальто. Пусто.

Я сажусь на диван. Беру телефон. Открываю поиск. Набираю: «домовой в квартире что делать». Выпадает тысяча ссылок. «Как задобрить домового», «Приметы и суеверия», «Домовой — дух дома в славянской мифологии». Я читаю одну статью. Там написано: домовой живёт за печкой, любит молоко и хлеб, может душить по ночам. Я читаю и чувствую, как во мне всё сжимается. Это не про меня. У меня нет печки. У меня есть газовая плита и микроволновка.

Я закрываю телефон. Смотрю на письмо. «Он был у ме-

ня сорок лет». Сорок лет. Бабушка прожила в этой квартире пятьдесят. Значит, он появился раньше. «Был у моей матери — не у неё, у дома, но потом пошёл за мной». У какой матери? У прабабушки? Я не знаю прабабушку. Она умерла до моего рождения. Бабушка говорила о ней редко: «Мать была строгая». И всё.

Я беру письмо и читаю ещё раз. Теперь я замечаю то, что пропустила. «Не проси за других. Особенно за маму». Почему за маму? Что с мамой? Я смотрю на эту строчку долго. Потом кладу письмо на стол и иду на кухню.

На пороге, в углу, белеет соль.

Я останавливаюсь. Присаживаюсь. Соль лежит тонкой полоской, как её сыплют от тараканов. Я трогаю пальцем. Она сухая, крупная, сероватая. Я не покупала соль. У меня вообще нет соли. Я не готовлю. Я ем суп из банки и пью кофе.

— Кто это сделал? — спрашиваю я.

Дом молчит.

Я беру телефон. Звоню маме. Она берёт после пятого гудка.

— Мам, скажи, бабушка верила в домовых?

Пауза. В трубке — телевизор.

— Что?

— В домовых. В духов. В такую ерунду.

— Юля, ты чем занимаешься?

— Разбираю вещи. Нашла письмо.

— Какое письмо?

— Бабушкино. Она пишет про какого-то... — я осекаюсь. — Про духа, который живёт в квартире.

Мама молчит. Потом говорит:

— Бабушка всегда была суеверная. Соль под порог, свечки, «не говори в пустоту». Я думала, это возраст.

— А ты не находила ничего? Ну, письма? Или ещё что-то?

— Нет.

Она говорит быстро. Слишком быстро. Я слышу, как она затягивается сигаретой. Она бросила курить пять лет назад, но иногда курит на балконе, когда никто не видит. Я знаю это по звуку.

— Мам.

— Что?

— Ты помнишь своё детство?

Пауза. Длинная. Телевизор что-то говорит, мама не слушает.

— Плохо, — говорит она. — А что?

— Просто спросила.

— Юля, у меня сериал. Позвони завтра.

— Хорошо.

Она кладёт трубку. Я смотрю на телефон. На экране — её имя и фотография, которую я поставила наугад: она в парке, улыбается. Я не помню, когда это было. Может, в Твери. Может, в Москве. Может, это вообще не она.

Я звоню Ире.

Она берёт сразу. На заднем плане — мультики и голос

Сони.

— Ты чего? — спрашивает Ира. — Что-то случилось?

— Нет. То есть случилось. Я нашла письмо.

— От кого?

— От бабушки. Предсмертное. Там написано, что в квартире живёт домовой. И что он выполняет просьбы. И что за это надо платить.

Пауза. Мультики говорят что-то про зайца.

— Ты пьяная?

— Нет.

— Тогда я не понимаю.

— Я тоже.

Я читаю ей письмо. Не всё, только куски. Про ключи, про соль, про «не проси за маму». Ира слушает молча. Потом говорит:

— Юль, это очень... образно.

— Это не образно. Это написано на бумаге.

— Мало ли что написано. Она была старая. Может, у неё начиналось...

— Что начиналось?

— Ну, ты понимаешь.

Я понимаю. Она имеет в виду деменцию. Я тоже об этом думала. Но бабушка до последнего месяца была в ясном уме. Она помнила, где лежат документы. Она помнила, что я не люблю лук. Она забыла имя мужа, но это было раньше.

— Она не была сумасшедшей, — говорю я.

— Хорошо, — говорит Ира мягко. — Не была. Юль, а ты сейчас где?

— Дома.

— Одна?

— Да.

— Хочешь, я приеду? Дима посидит с детьми.

— Нет.

— Почему?

— Потому что у тебя своя жизнь.

— У меня не своя жизнь. У меня твоя жизнь, только с детьми и мужем.

Я смеюсь. Ира тоже. Потом она говорит:

— Ты давно не приезжала.

— Знаю.

— Соня спрашивает про тётю Юлю. Я говорю, что тётя Юля работает. Она думает, что ты работаешь в зоопарке.

— Почему в зоопарке?

— Потому что ты однажды сказала, что твоя работа — цирк. Она запомнила.

Я смеюсь. В груди становится тепло. Потом Ира говорит:

— Юль, серьёзно. Если тебе страшно, приезжай. У нас есть диван. Или надувной матрас. Кирюха будет спать с нами, а ты — в детской.

— Я не могу.

— Почему?

Я молчу. В трубке слышно, как Соня зовёт маму. Ира

вздыхает.

— Ладно, — говорит она. — Позвони, если что. И не читай на ночь всякую ерунду.

— Хорошо.

— И приходи в субботу. Без «не могу».

— Постараюсь.

Мы прощаемся. Я кладу телефон. В комнате пахнет сухой травой. Я не оборачиваюсь. Я уже знаю, что никого не увижу.

Я вспоминаю девятый день.

После похорон мы собрались в этой квартире. Пришли родственники: тётя Лариса, двоюродный дядя Володя, ещё какие-то люди, которых я видела первый раз. На столе были кутья, блины, холодец. Мама стояла у окна и не ела. Я разливала чай.

Тётя Лариса сказала:

— Мария всегда говорила, что в доме есть хозяин. Помните? «Хозяюшко». Она ему молоко ставила.

Я тогда удивилась. Я думала, «Хозяюшко» — это кличка кота. У бабушки был кот, давно, до моего рождения. Звали его Пушок.

Мама сказала:

— Лариса, не надо.

— А что такого? Человек умер. Можно вспомнить.

— Не надо, — повторила мама.

Больше никто не говорил. Мы ели холодец и говорили про погоду. А я смотрела на блюдце у батареи. На нём было мо-

локо. Я подумала, что бабушка забыла убрать. Потом забыла сама.

Теперь я понимаю: блюдце стояло не просто так. И молоко в нём было свежее. Я не помню, кто его наливал. Наверное, никто. Наверное, оно появлялось само.

Я возвращаюсь в комнату. Письмо лежит на столе. Я беру его, складываю в конверт, кладу в правый ящик комода. Запираю. Ключ — в банку из-под чая. Я стою посреди комнаты и говорю:

— Я не буду просить. Слышишь? Ничего мне не надо.

Тишина. Потом — очень тихо — в стене что-то щёлкает. Как будто кто-то переступил с ноги на ногу. Или как будто дом вздохнул.

Я иду на кухню. Включаю чайник. Смотрю на соль. Потом беру веник и сметаю её в совок. Высыпаю в мусорное ведро. Мою пол. Когда заканчиваю, в углу чисто. Я смотрю на это место и чувствую странное удовлетворение. Как будто что-то доказала.

Ночью я просыпаюсь от холода.

Не от того, что холодно. Одеяло тёплое. Холодно в одном месте — на затылке. Как будто кто-то приложил к шее что-то ледяное и убрал. Я лежу, не двигаясь. Смотрю в потолок. Трещина на месте.

— Это ты? — спрашиваю я шёпотом.

Тишина.

— Ты читал письмо? Ты знаешь, что я не буду просить?

Тишина. Потом на плечо опускается тепло. Лёгкое, как рука. Я замираю. Тепло держится секунду и уходит.

Я лежу с открытыми глазами до утра. Я не боюсь. То есть боюсь, конечно. Но есть другое чувство, которое я не могу назвать. Как будто в пустой квартире стало на одного человека больше. И этот человек — не человек.

Утром я иду на работу. В метро я стою у двери и смотрю на своё отражение. В стекле — уставшая женщина в сером пальто. За её спиной — вагон, люди, огни. И ещё что-то. Тёмное пятно, которое не двигается вместе с вагоном. Я отвожу взгляд. Смотрю на телефон. Читаю новости. Ничего не понимаю.

На работе Олег спрашивает:

— Ты чего такая?

— Какая?

— Как будто привидение увидела.

Я смеюсь. Слишком громко. Олег смотрит на меня странно. Я говорю:

— Не выспалась.

— А, — говорит он. — Бывает.

Он отворачивается. Я открываю рукопись. «Окружающий мир». Дом — это место, где тебя ждут. Я беру красную ручку и подчёркиваю эту фразу. Потом ставлю вопросительный знак на полях. Потом стираю. Потом ставлю снова.

Вечером дома я первым делом смотрю на порог. Соль не появилась. Я говорю себе: конечно, не появилась. Ты же её

убрала. Всё объяснимо.

Я стою на кухне и смотрю в тот угол, где она была. Пол вымыт, линолеум блестит. Ничего. Пусто.

— Ладно, — говорю я. — Проверим.

Я не знаю, зачем это делаю. Наверное, чтобы доказать себе, что ничего нет. Или чтобы доказать, что есть. Оба варианта мне не нравятся.

Правило два: не благодари вслух. «Спасибо» он тоже слышит как просьбу.

Я складываю руки на груди, как на собрании, и говорю в пустую кухню, отчётливо, по слогам:

— Спа-си-бо.

Тишина. Холодильник щёлкает и заводится. В трубах гудит вода. Я жду. Ничего. Я чувствую себя глупо. Очень глупо. Взрослая женщина стоит на кухне и разговаривает с холодильником.

Я уже собираюсь уйти, когда у виска появляется холод. Не сквозняк. Сквозняк двигается, у него есть направление. А этот холод стоит на месте, точкой, как чей-то палец, прижатый к коже. Маленький, аккуратный, очень определённый. Я стою не дыша. Холод держится секунды три и уходит.

— Это что было? — спрашиваю я шёпотом. — «Нет»?

Холод возвращается. Один раз, коротко, как кивок. Или как предупреждение.

— Поняла, — говорю я. — Не буду благодарить.

Холод исчезает. На кухне снова тепло. Я стою ещё немно-

го. Потом говорю тише, почти жалобно:

— Я пошутила. Я не хотела просить.

Ничего. Никакого ответа. И почему-то от этого хуже, чем от холода.

Я иду чистить зубы. В ванной пахнет сыростью и стиральным порошком. Я смотрю на себя в зеркало. Лицо как лицо. Уставшее. Под глазами тени, которые не проходят уже год. Я чищу зубы и думаю о том, что сказала бабушка: «Он не стоит в углу и не смотрит».

Из крана падает капля. Я закручиваю кран сильнее. Капля падает снова. Я смотрю на кран. Он закрыт. Я вытираю руки, выключаю свет и закрываю дверь.

Из-за двери, в темноте, падает ещё одна капля. Потом ещё. Ровно, спокойно, как метроном.

Я стою в коридоре и слушаю. Мне не страшно. Мне... не знаю. Мне кажется, что кто-то сидит в ванной и ждёт, когда я уйду. Или не ждёт. Просто сидит.

Я возвращаюсь в комнату. Сажусь на диван. В квартире тихо, только капля в ванной считает секунды. Я говорю вслух, не думая:

— Только не уходи пока. Ладно?

И сразу жалею. Это не просьба, говорю я себе. Это просто слова. Я имею право говорить слова в своей квартире.

В стене что-то тихо скрипит. Как половица, на которую наступили.

Я выключаю свет и ложусь. Закрываю глаза. И в темноте,

на границе сна и яви, слышу бабушкин голос. Он говорит совсем тихо, как говорят с ребёнком, которого нельзя будить:

— Не проси за маму.

Я открываю глаза. В комнате никого. Я лежу и думаю: я и не собиралась.

Глава 4. Первая ночь

Во вторник я возвращаюсь домой в половине восьмого. На улице уже черно. Октябрь не жалеет: утром серо, вечером темно, и весь день как в коридоре, где перегорела лампочка. Я иду от метро под моросящим дождём, обхожу лужи, в которых плавают жёлтые листья, и думаю о том, что ничего не изменилось. Завтра будет то же самое. И послезавтра.

Лифт висит на четвёртом. Внутри кто-то громко говорит по телефону, и я иду пешком. На седьмой. Семь этажей, по шестнадцать ступенек. Я считаю их, чтобы не думать. На площадке пахнет мокрым бетоном и чужой едой. Кто-то жарит лук. За одной дверью работает телевизор, за другой ругаются. Жизнь идёт. Меня в ней нет.

Я открываю свою дверь и на секунду останавливаюсь на пороге. Слушаю. В квартире тихо, как в библиотеке. Но тишина не пустая. Я не могу объяснить, чем она отличается от обычной, но отличается. Как будто кто-то сидит в темноте и смотрит, как я вхожу, и не хочет, чтобы я это заметила.

— Я пришла, — говорю я.

И чувствую себя идиоткой. Правда, меньше, чем вчера.

Свет в прихожей я включаю сама. Раздеваюсь. Пальто вешаю на крючок, где до меня висело бабушкино; его я отдала в церковь на прошлой неделе, но крючок всё ещё помнит форму. Потом достаю телефон. На экране — сообщение,

пришло, пока я ехала.

«Уважаемая Юлия Сергеевна! Для переоформления лицевого счёта и заключения договора необходимо предоставить документ, подтверждающий право пользования жилым помещением. Приёмные дни: вт, чт, 9:00–18:00».

Я смотрю на эту строчку и вспоминаю синюю папку. Свидетельство о смерти, страховка, квитанции, рецепты, фотографии. Договора там не было. Наверное, он был когда-то. В семьдесят втором году, когда бабушке дали квартиру. Наверное, лежал в папке сорок лет и куда-то пропал. Или его никогда не было, потому что тогда выдавали не договор, а ордер.

Ордер. Слово из бабушкиных рассказов. «Нам дали ордер, и мы въехали с одним чемоданом».

Я решаю, что поищу на выходных. У меня ещё пять дней. Целая вечность, если не думать.

Суп из банки я разогреваю в кастрюльке. Ем стоя, у окна. За окном двор, фонарь, машины. В соседнем доме на третьем этаже женщина в халате закрывает шторы. Я смотрю на неё и думаю: интересно, она разговаривает с кем-нибудь? У неё там кто-то есть? Или она тоже просто закрывает шторы и идёт к телевизору?

Я мою чашку. Ставлю в сушилку. Белая, с синей каймой, из старого сервиза. Таких было шесть. Осталось три. Остальные бабушка разбила, когда у неё начали дрожать руки. Она расстраивалась из-за чашек больше, чем из-за рук.

В одиннадцать я ложусь.

Сон не приходит. Я лежу на спине, потом на боку, потом на животе. Взбиваю подушку. Считаю до ста. Потом до тысячи. Потом сбиваюсь и начинаю заново. Сон не приходит, но и не уходит — он где-то рядом, за стеной, как сосед, который включил музыку, но не громко.

В ванной падает капля.

Я закрывала кран. Я помню, как закрывала. Капля падает снова. Потом ещё. Ровно, через одинаковые промежутки, как метроном. Я лежу и слушаю. На седьмой минуте не выдерживаю, встаю и иду закручивать.

Кран закрыт. Я закручиваю его ещё на пол-оборота, до упора. Возвращаюсь. Ложусь.

Капля.

Я накрываю голову подушкой. Капля стучит через подушку — тише, но отчётливее. Как будто кто-то стучит пальцем по стеклу. Я отбрасываю подушку.

— Да что ж такое, — говорю я в потолок.

И вспоминаю про правила. Все восемь. Я прокручиваю их в голове, как таблицу умножения. Не просить в полночь. Не благодарить вслух. Не называть по имени. Не оставлять балкон открытым. Если пахнет гарью — молчи. Не просить за других. Соль. Не оборачиваться, если он греет плечо.

Полночь. Я смотрю на телефон: 00:12. Уже. Или ещё. Я не знаю, как это считается — по часам или по темноте.

Капля.

Я встаю. Иду на кухню. Свет не включаю, хватает фонаря из окна. Наливаю воды. Пью стоя, у раковины. Капля стучит за стеной, в ванной, и в тишине это звучит громче, чем должно.

— Слушай, — говорю я в темноту. — Ты же домовой. Ну, типа. Можешь кран починить? А то я с ума сойду.

Я говорю легко, почти шутя. И тут же жалею. Слова уже вылетели. Я стою и слушаю.

Капля.

Потом — тишина.

Не сразу. Через секунду, через две. Капля падает в последний раз, и всё. Тихо. Я стою у раковины, держу стакан и слышу, как в квартире становится тихо. По-настоящему тихо. Даже холодильник молчит.

— Ого, — говорю я.

Ставлю стакан. Руки чуть дрожат. Я возвращаюсь в комнату. Ложусь. Сон не приходит. Теперь ему ничего не мешает, но он не приходит. Как будто кто-то выключил его с той стороны стены.

Я лежу и смотрю в потолок. В темноте трещины не видно, но я знаю, что она там. Я знаю её с детства. Она похожа на реку. Бабушка говорила: «Это не трещина, это карта. По ней можно уплыть». Мне было пять. Я лежала на её кровати и водила пальцем по потолку, как по воде.

Бабушка плохо спала. Я помню это с тех пор, как помню себя. Она вставала ночью и ходила по квартире — тихо, но

пол скрипел. Я находила её на кухне в четыре утра. Она сидела за столом, перед ней стояла чашка, и она смотрела в стену.

— Бабушка, ты чего?

— Не спится, Юленька.

— А чего?

— Хозяин не спит. И мне не даёт.

Я тогда думала, что «хозяин» — это кот. У нас был кот, Пушок, старый, серый, он спал на батарее и храпел. Я думала, это он не спит. Пушок умер, когда мне было семь. После него бабушка ещё чаще стала вставать по ночам.

Я лежу и понимаю: «хозяин» — не кот.

В час сорок я встаю окончательно. Накидываю на плечи одеяло, иду в комнату, сажусь на пол у дивана. Паркет холодный. Из окна падает свет фонаря, рисует на стене длинный прямоугольник. В прямоугольнике — мои колени.

— Ладно, — говорю я тихо. — Давай поговорим.

Тишина.

— Ты здесь?

В спину, между лопаток, упирается тепло. Мягкое, круглое, как ладонь. Не толчок, просто давление. Я замираю.

— Это «да»? — спрашиваю я.

Тепло становится чуть сильнее. Потом отпускает.

— Хорошо, — говорю я. — Значит, «да». А «нет» — это когда холод? У виска?

Тишина. Потом у виска появляется ледяная точка. Дер-

жится секунду и исчезает.

— Понятно, — говорю я. — Как в азбуке Морзе. Только вместо точек — температура.

Я смеюсь. Смех выходит короткий, невесёлый. Одеяло сползает с плеч, я поправляю его.

— Ты был у бабушки? — спрашиваю я. — Сорок лет?

Тепло в спине. Долгое, уверенное.

— А до неё? У прабабушки?

Тепло. Медленнее, как будто ему нужно подумать.

— А где ты был до прабабушки?

Ничего. Ни тепла, ни холода. Я жду. В квартире очень тихо. Даже часы, которые стоят, не тикают.

— Ладно, — говорю я. — Не хочешь — не надо.

Я подтягиваю колени к груди. Свет фонаря на стене дрожит — наверное, ветер. Я думаю о том, какие вопросы ещё можно задать. Их слишком много. И все они глупые.

— Ты меня видишь? — спрашиваю я.

Тепло. Ближе к шее, чем раньше. Как будто он подошёл.

— А я тебя не вижу.

Тепло не отвечает. Оно просто есть. Это не «да» и не «нет». Это просто присутствие. Я сижу на полу, завёрнутая в одеяло, и впервые за три месяца чувствую, что в квартире не одна. Не так, как при бабушке. При бабушке я была одна в своей комнате, а она — в своей. А теперь я одна во всей квартире, и кто-то ещё — во всей квартире. И это «кто-то» не дышит.

— Ты её любил? — спрашиваю я.

Тишина.

— Бабушку. Ты её любил?

Ничего. Ни тепла, ни холода, ни скрипа. Я жду долго, целую минуту. Потом говорю:

— Ладно. Глупый вопрос.

Но он не глупый. Он самый важный. И то, что ответа нет, почему-то хуже любого ответа.

Я сижу на полу и смотрю на светлый прямоугольник на стене. Внезапно из глаз текут слёзы. Я не понимаю, откуда они. Я не плакала на похоронах. Я не плакала, когда подписывала бумаги. Я не плакала, когда отдавала её пальто в церковь. А сейчас сижу на холодном паркете и плачу из-за того, что кто-то не ответил на глупый вопрос.

Я вытираю лицо ладонью. Слёзы идут и идут. Я не всхлипываю, не вою. Просто сижу, и лицо мокрое. Как протечка.

И тогда на плечо ложится тепло.

Не точка. Не толчок. Именно рука. Тяжёлая, тёплая, широкая — больше моей ладони. Она лежит на плече и не двигается. Я замираю. Правило восемь: не оборачивайся. Я не оборачиваюсь. Я сижу очень прямо и чувствую, как тепло расходится по плечу, по шее, к затылку.

— Спасибо, — шепчу я.

И тут же застываю. Правило два. «Спасибо» он слышит как просьбу.

— Нет, — говорю я быстро. — Нет. Я не то. Я не прошу.

Это просто... Я забыла. Прости.

Тепло уходит. Не резко — медленно, как вода из ванны. Плечо становится холодным. В квартире опять очень тихо, и тишина эта теперь другая: не выжидающая, а пустая.

— Прости, — говорю я ещё раз. — Я правда не хотела.

Ничего.

Я сижу на полу, пока не затекают ноги. Потом встаю, ложусь в постель и лежу с открытыми глазами. Сон не приходит. Я смотрю на потолок, на невидимую трещину, и думаю: вот и всё. Вот и познакомились.

За окном начинает синеть. Сначала чуть-чуть, потом сильнее. Приходит утро, серое, как вода в тазу. Я слышу, как во дворе заводятся машины, как дворник скребёт лопатой — первый снег обещали на выходных, но пока только мокрые листья. Я не спала ни минуты. Голова тяжёлая, глаза сухие, во рту вкус металла.

Я встаю. Иду в ванную. Кран сухой. Смеситель тёплый, как будто его долго держали в руках. Я трогаю его и отдёргиваю руку.

На кухне я вижу чашку. Ту самую, белую с синей каймой. Она стоит в сушилке, перевёрнутая вверх дном. Я не мыла её утром. То есть мыла — вчера вечером, после супа. Но я точно помню, что оставила её в раковине. Я помню, как поставила её туда и подумала: «Помою утром».

Я смотрю на чашку долго. Потом беру её, ставлю на стол, наливаю кофе. Кофе без сахара. Пью и смотрю в стену.

На работе я сижу над рукописью и не вижу букв. Виктор Аркадьевич проходит мимо и говорит:

— Ветрова, вы сегодня какая-то варёная.

— Не выспалась, — говорю я.

— Молодость, — говорит он и идёт дальше. Он не злой. Просто ему всё равно.

Олег поднимает голову от монитора и смотрит на меня. Ничего не говорит, но я чувствую этот взгляд спиной. Взгляд у него как у человека, который уже решил, что ему за тобой идти не надо.

До обеда я успеваю сделать ровно ничего. Рукопись «Окружающий мир, третий класс» лежит передо мной открытой на странице тридцать восемь. Абзац про то, что дом — это место, где тебя ждут. Я читаю его шестой раз и каждый раз понимаю меньше. Красная ручка в руке. Я ставлю галочку на полях, потом стираю ластиком, потом ставлю снова. Бумага лоснится от ластика.

В половине двенадцатого Олег просит макет. Я отправляю ему файл. Через минуту он пишет: «Это старая версия». Я открываю папку. Там три файла с почти одинаковыми названиями: «макет_финал», «макет_финал2», «макет_финал_последний». Я отправляю второй. Он пишет: «Тоже старый». Я отправляю третий. Он молчит. Потом говорит через стол, не поворачивая головы:

— Юль, ты в порядке? Ты вчера файл не тот отправила.

— Какой не тот?

— Ну, не тот. — Он пожимает плечами. — Я поправил, но вообще-то это твоя работа.

Виктор Аркадьевич поднимает голову. Смотрит на нас поверх очков. Ничего не говорит, но я чувствую, как в воздухе что-то записывается. В графу напротив моей фамилии.

— Спасибо, что поправил, — говорю я.

— Не за что, — говорит Олег и возвращается к монитору.

В обед я беру кофе из автомата в коридоре. Автомат выдаёт коричневую воду с запахом жжёного. Я пью её стоя, у окна, смотрю на крыши. Дождь идёт ровно, без начала и конца. На соседней крыше ворона клюёт что-то, что не разобрать. Я думаю: интересно, у вороны болит голова после бессонной ночи? Потом думаю, что это самый глупый вопрос, который я задавала сегодня. До вечера, во всяком случае.

После работы — метро. Вагон набит, я стою, держусь за поручень. На «Бабушкинской» не выхожу: просыпаюсь от того, что кто-то толкает меня в бок, уже на «Медведкове». Двери закрываются. Я еду назад. В отражении стекла — уставшая женщина в сером пальто, с растрёпанными волосами. За её спиной люди, огни, реклама. И ещё что-то. Тёмное, у самой рамы, где не должно быть ничего. Я отвожу взгляд. Смотрю в телефон. На экране — сообщение из МФЦ, которое я не открывала. «Приёмные дни: вт, чт».

Домой я возвращаюсь в половине восьмого, на час позже, чем обычно. Ноги гудят. Голова пустая, как коробка из-под обуви. Квартира тёплая, тихая, ждёт. Я снимаю пальто, иду

на кухню. Чашка стоит на столе — я оставила её утром. Рядом — ложка. Я смотрю на них и понимаю, что за весь день ни разу не подумала о том, что произошло ночью. То есть думала, конечно. Но как-то вскользь. Как о чём-то, что можно объяснить.

Я сажусь за стол. Опускаю голову на руки. В квартире ни звука. Но я знаю, что он здесь. Он всегда здесь.

— Я не буду больше просить, — говорю я в стол.

Тишина.

— Слышишь? Я не буду.

Тишина. Потом где-то в стене тихо скрипит половица. Один раз, коротко. Как будто кто-то переступил с ноги на ногу. Или как будто дом вздохнул.

Я поднимаю голову. Смотрю в тёмный проём коридора. Там никого. Там не может быть никого. Я знаю это.

— Но кран ты починил хорошо, — говорю я.

И тут же закрываю рот рукой. Слишком поздно. В квартире становится чуть теплее. На полградуса, не больше. Но я чувствую.

Я сижу на кухне и думаю о том, что завтра надо найти договор. Потом о том, что договор, наверное, где-то есть. Потом о том, что можно спросить.

Я прогоняю эту мысль. Она возвращается. Я прогоняю её снова.

Потом встаю, мою чашку и ставлю её в сушилку. Перевёрнутую. Как всегда.

Глава 5. Кружка

В среду утром чашка стоит на столе.

Не в сушилке. Не в раковине. На столе, посередине, донышком вниз, как будто кто-то пил из неё чай и забыл убрать. Я трогаю её. Сухая. Комнатная. Ни капли, ни запаха. Я смотрю на неё долго, потом ставлю в шкаф и иду на работу.

По дороге я думаю о договоре. Это удобно. Когда думаешь о бумаге, не думаешь о чашке.

На работе Виктор Аркадьевич спрашивает, почему макет не сдан. Я говорю, что сдам в пятницу. Он говорит: «В пятницу так в пятницу». Олег смотрит на меня и улыбается. Улыбка у него хорошая, открытая, как у человека, который желает тебе добра и немножко сомневается, что ты его примешь.

До обеда я правлю главу про семью. Там есть упражнение: «Расскажи, как твоя семья проводит выходные». В методичке написано, что упражнение формирует «навыки связной речи и эмоциональную близость». Я читаю это и думаю: а если у ребёнка нет семьи? Если есть, но не такая? Если выходные проходят в тишине, каждый в своей комнате, и все делают вид, что это нормально? Я вычёркиваю «эмоциональную близость» и пишу «навыки связной речи». Потом возвращаю. Потом снова вычёркиваю. В конце концов оставляю как было. За это платят.

В двенадцать приходит Олег с двумя стаканами кофе. Один ставит передо мной.

— Держи. Ты какая-то зелёная.

— Спасибо.

— Не за что. — Он садится напротив, откидывается на спинку стула. — Слушай, ты вчера методичку прислала — я посмотрел. Там в тестах два правильных ответа. Я поправил. — Он пожимает плечами. — Ты не обижайся. Просто в следующий раз проверяй.

— Хорошо.

— Ага. — Он отхлёбывает кофе. — Ты вообще в порядке? У тебя вид, как будто ты месяц не спала.

— Почти.

— Что-то серьёзное?

Я смотрю на него. Мне хочется сказать: «Да. У меня в квартире живёт невидимый помощник, и я прошу его найти договор». Я говорю:

— Нет. Просто устала.

— Понятно, — говорит Олег. — Устала.

Он уходит. Кофе у него всегда лучше, чем из автомата. Я не знаю, где он его берёт.

Домой я возвращаюсь в семь. Не раздеваясь, иду в комнату и достаю синюю папку.

Свидетельство о смерти. Страховка. Квитанции за газ, за свет, за телефон — бабушка хранила всё, до последней бумажки. Рецепты на лекарства. Фотографии, которые я уже

видела. Договора нет.

Я сажусь на пол и начинаю искать как следует.

Сначала шкаф. Верхняя полка — постельное бельё, перевязанное тесёмками. Средняя — бабушкины платья, тёмные, в мелкий цветок. Нижняя — обувь, коробки из-под обуви, а в коробках — пуговицы, нитки, старые очки, три мотка шерсти и деревянная линейка, которой бабушка мерила меня в дверном проёме. Росты отмечены карандашом: 1999, 2000, 2001. Последняя отметка — 2004, сто двадцать шесть сантиметров. Дальше я расти перестала. В смысле, выросла, конечно, но бабушка больше не мерила.

Я выдвигаю шкаф. За ним — обои, выцветшие до цвета газеты. Пыль. Дохлый комар. Ничего.

Мезонин.

В детстве я боялась мезонина. Бабушка говорила, что там живёт «то, что не помещается в доме», и я представляла большого серого зверя, который сидит на чемодане и ждёт. Я просила открыть дверцу и показать. Бабушка открывала. Внутри были чемоданы, банки, старая шуба. «Видишь? Никого». Я смотрела на шубу и думала: а если он за шубой? Бабушка закрывала дверцу и говорила: «Не бойся. Он не в шубе. Он везде».

Я встаю на табуретку и открываю дверцу. Там темно, пахнет пылью и нафталином. Я запускаю руку. Чемодан. Старый, коричневый, с двумя латунными замками. Я снимаю его, ставлю на пол, открываю. Внутри — зимние вещи. Сви-

тер. Шарф. Папка.

Папка тонкая, картонная, с завязками. Я развязываю. Внутри — договор. Не тот. Это договор на телефон, 1994 год. И ещё — квитанция. И ещё — железнодорожный билет. Жёлтый, тонкий, с еле различимым шрифтом: «Торжок — Москва. 12 июня 1962 года». Один билет. Один пассажир. Фамилия не читается.

Я смотрю на билет. Двенадцатый год. Бабушке было двадцать четыре. Она переехала в Москву в семьдесят втором, я это знаю. Значит, в шестьдесят втором она ездила. Зачем? К кому? Я переворачиваю билет. На обороте — цифры, оттиск компостера. И всё.

Я кладу билет обратно в папку. Остальное — в чемодан. Закрываю замки. Один защёлкивается, второй нет. Я ставлю чемодан в мезонин, закрываю дверцу. Слезаю с табуретки. Колени дрожат.

Потом — сервант. Тот самый, с чашками. В нижнем ящике — скатерти, салфетки, клеёнка. В среднем — вилки, ложки, ножи, всё вперемешку. В верхнем — сервиз. Три чашки. Три блюдца. Сахарница без крышки. Я вынимаю всё, ставлю на стол. Дно ящика застелено газетой. «Правда», 1987 год. Я поднимаю газету. Под ней — конверт. Тонкий, уже вскрытый. В нём — фотография.

На фотографии — молодая женщина с ребёнком на руках. Женщина — бабушка. Глаза строгие, губы поджаты, волосы уложены валиком. Ребёнок — девочка, года два, в платье с

воротничком. Я знаю эту девочку. Это мама. Но мама на фотографии не улыбается. И бабушка не улыбается. Они смотрят в объектив, как в окошко кассы.

На обороте — надпись бабушкиным почерком: «Нина. 1964».

Я кладу фотографию на стол. Смотрю на неё. Потом на чашки. Три чашки, три блюдца. Всё, что осталось от шести.

Договора нет.

Я сажусь на пол перед книжным шкафом. Книг немного: бабушкины кулинарные, несколько томов с пожелтевшими корешками, мамины учебники, мои детские. Я вынимаю их по одной, держу за корешок, трясу. Из одной падает сухая ромашка. Из другой — рецепт, написанный бабушкиным почерком: «Пирог с капустой. Тесто: маргарин — пачка, мука — три стакана, сметана — стакан. Начинка: капуста, лук, яйцо. Печь при 180».

Я смотрю на рецепт и чувствую запах. Не помню вкус, а запах помню: тёплый, капустный, с маслом. Бабушка пекла такой по субботам, и весь подъезд знал, что у Ветровых пирог.

Я откладываю рецепт. Беру следующую книгу. Между страницами — закладка, картонная, с ёлочкой. На закладке бабушкиным почерком: «Не просить в полночь». Я переворачиваю её. С обратной стороны: «Если пахнет гарью — молчи и жди». Две строчки, аккуратно, как в рецепте.

Я откладываю закладку. Продолжаю. Ещё одна книга —

«Сказки народов мира», дарственная надпись: «Юленьке от бабушки. 2000 год». Мне было три. Я листаю. На полях — ничего. Между страницами — ничего.

Я вынимаю все книги. Полка пустая. За книгами — пыль и след от клея, квадратный, как будто здесь когда-то стояла коробка. Я смотрю на этот след. Может, коробка. Может, папка. Может, ящик, который вытащили давно, до меня.

Я собираю книги обратно. Закладку оставляю на столе. Сажусь и читаю обе строчки. «Не просить в полночь». Смотрю на часы: половина восьмого. До полуночи далеко.

Я звоню маме. Она берёт не сразу — наверное, в наушниках, смотрит сериал. В трубке шуршит ткань.

— Юля? Что-то случилось?

— Нет. Мам, ты не помнишь, где бабушка хранила договор на квартиру? Приватизацию.

— Какую приватизацию?

— Квартирную. Девяносто третий год. Она приватизировала квартиру, помнишь? Ты ещё приезжала, там женщина была из ЖЭКа.

Пауза. Мама вздыхает.

— Юля, я не помню. Я в Твери.

— Я знаю, что ты в Твери. Я спрашиваю, может, ты помнишь.

— Я не помню, — говорит она ровно. — Я туда не лезла. Это была её квартира.

— А документы? Она тебе ничего не отдавала?

— Мне? Нет. Зачем мне.

Я слышу, как она затягивается. Значит, на балконе. Значит, разговор будет коротким.

— Мам, а ты вообще была у неё в квартире после похорон?

— Была. На девятый день. Ты же видела.

— Я не про девятый день. Потом.

— Потом не была. Юля, ты же знаешь, я не могу.

Она говорит это, и в голосе появляется что-то — не тепло, а как будто трещина. Я не знаю, что за ней. Я никогда не знала.

— Ладно, — говорю я. — Я найду.

— Найдёшь, — соглашается она. — Она всё хранила. У неё ничего не пропадало.

Я почти спрашиваю: «А как же память?» Но не спрашиваю. Мы прощаемся. Я кладу телефон и ещё секунду смотрю на него.

Я звоню Ире. Она берёт после третьего гудка. На заднем плане — телевизор, мультики.

— Юль? Привет. Ты чего?

— Ничего. Ищу бумаги.

— Какие бумаги?

— Договор на квартиру. МФЦ требует. Я уже весь дом перерыла.

— А в папке?

— В какой?

— Ну, в синей. У неё же была синяя папка.

— Я её три раза пересмотрела. Нет там договора.

Ира молчит. Слышно, как Соня что-то говорит, и Ира шипит: «Соня, подожди». Потом говорит мне:

— А в мезонине?

— Смотрела.

— А за шкафом?

— Смотрела.

— А в книгах? Она же любила в книгах прятать.

Я замираю. Книги. Я про них не подумала.

— Юль?

— Да. Книги. Точно.

— Ну вот. — Ира вздыхает с облегчением, как будто проблему уже решили. — Найдёшь.

— Надеюсь.

Пауза. В трубке мультики поют песню про облака.

— Ты какая-то странная, — говорит Ира.

— Я не спала.

— Опять?

— Опять.

— Юль, так нельзя. Ты так свалишься. Может, к врачу?

— К какому врачу, Ира. У меня договор потерялся.

— Ну да. — Она смеётся. — Это важнее.

Я тоже смеюсь. Потом говорю:

— Ир.

— Что?

— У меня чашка двигается.

Пауза. Мультики заканчиваются, начинается реклама.

— В смысле?

— В прямом. Оставляю в раковине, утром она в сушилке. Оставляю в сушилке, утром она на столе.

— Может, ты сама?

— Может, и сама.

— Ну вот.

— Ага.

Ира молчит. Я слышу, как она дышит. Потом она говорит мягко, как говорят с человеком, который вот-вот сорвётся:

— Юль. Приезжай в субботу. Просто приезжай. Соня тебе покажет свой танец. Кирилл научился говорить «дай». Он говорит это всё время. «Дай, дай». Как маленький начальник.

— Приеду, — говорю я.

— Правда?

— Правда.

— Не обманывай.

— Не буду.

Мы прощаемся. Я кладу телефон и ещё долго сижу на полу среди выпотрошенных ящиков. Потом собираю всё обратно: скатерти, вилки, чашки. Фотографию кладу в конверт, конверт — под газету. «Правда», 1987 год. Пусть лежит.

Вечером я сижу на кухне. Передо мной чашка. В чашке — чай, уже остывший. За окном темно, во дворе горит фонарь,

в его свете кружатся мокрые листья.

Я смотрю на чашку и думаю: это глупо. Это очень глупо. Мне двадцать восемь лет, я редактор учебной литературы, я не верю в домовых. Но я сижу на кухне и жду, когда чашка зазвенит.

С другой стороны, я уже слышала, как она звенит. Я уже видела траву на столе. Я уже две ночи спала по три часа. В какой-то момент перестаёшь делить мир на нормальное и ненормальное и начинаешь делить на то, что помогает, и то, что нет.

— Ладно, — говорю я тихо. — Слушай.

Дом молчит. Холодильник гудит. В трубе что-то капает. Я смотрю на часы: двадцать два сорок. Не полночь. Хорошо. Не полночь.

— Мне нужен договор. Договор на квартиру. Приватизация, девяносто третий год, примерно. Бабушка его куда-то убрала. Я искала везде. — Я замолкаю. Потом добавляю: — Найди, пожалуйста.

И жду.

Сначала ничего. Потом чашка звенит. Тонко, протяжно, как будто кто-то провёл мокрым пальцем по краю. Чай в чашке дрожит. По комнате идёт холод — не сквозняк, а именно холод, ровный, как из открытого холодильника. Пахнет сухой травой и воском. Я сижу не двигаясь. Сердце стучит где-то в горле.

В спину, между лопаток, упирается тепло. Держится се-

кунду и уходит.

Я не говорю «спасибо». Я говорю:

— Поняла.

Звон прекращается. Холод отступает. На кухне снова тепло, обыкновенно, по-человечески. Я смотрю на чашку. Чай в ней стоит ровно, как вкопанный.

Я встаю, выливаю чай в раковину, мою чашку и ставлю в сушилку. Перевёрнутую. Потом иду в комнату и ложусь.

Сон не приходит.

В июле, когда я только переехала, я тоже не спала. Первую неделю спала на бабушкином диване, потому что свою кровать не привезла. Диван был старый, пружины продавлены в форме бабушкиного тела. Я ложилась в эту вмятину и чувствовала себя маленькой. По ночам в квартире кто-то ходил. Не в соседней — здесь, в коридоре. Шаги медленные, тяжёлые, как будто человек переставлял ноги с усилием. Я вставала, включала свет, выходила в коридор. Никого. Проверяла дверь — заперта. Окна — закрыты. Возвращалась, ложилась, и через некоторое время шаги возобновлялись.

На третий день я спросила соседку с четвёртого, Галину. Она сказала: «Это дом. Дом старый, он садится. У нас все слышат». Я поверила. Мне хотелось поверить. Дом действительно старый, панель, семьдесят второй год, он имеет право садиться.

Теперь я думаю: дом садится уже пятьдесят лет. Каждую ночь, в одно и то же время, с одинаковыми шагами.

Я лежу и слушаю дом. Он не молчит. Он поскрипывает, пощёлкивает, вздыхает. Где-то капает вода. Где-то ходит сосед. Лифт останавливается на моём этаже и стоит долго, как будто в нём кто-то не решается выйти. Потом уезжает.

Я лежу и думаю: интересно, что я почувствую, когда найду договор. Радость? Облегчение? Страх? Я не знаю. Я вообще ничего не чувствую, кроме усталости. Усталость у меня вместо всех чувств. Она ровная, серая, привычная, как обои в подъезде.

В три часа я встаю. Иду на кухню. Включаю свет. На столе ничего. Открываю синюю папку — бумаги, фотографии, квитанции. Договора нет. Закрываю. Смотрю на сушилку. Чашка стоит там, где я её оставила, перевёрнутая. Я трогаю её. Сухая.

Я понимаю, что ждала другого. Что договор появится на столе, как в кино, — весь такой из ниоткуда, с пылью веков. Ничего не появилось. Может, он не услышал. Может, я недостаточно попросила. Может, всё это вообще ерунда, и чашка звенела от сквозняка, а трава прилипла к подошве.

Я стою на кухне в три часа ночи и разговариваю сама с собой. Потом выключаю свет и иду обратно.

Под утро, когда за окном начинает сереть, я слышу, как в комнате открывается ящик. Негромко, с деревянным стуком. Потом закрывается.

Я лежу, не дыша. Я не встаю. Я не смотрю. Я просто лежу и слушаю, как дом устраивается на ночь. Или на утро. У него

свои представления о времени.

Утром на кухонном столе лежит сухая трава. Одна травинка, тонкая, серая, с метёлочкой на конце. Я беру её. Она пахнет летом, пылью и чем-то ещё, тёплым, как руки.

Я не выбрасываю её. Кладу на подоконник. Потом наливаю чай в чашку. Чай холодный, хотя чайник только что вскипел, но я пью.

В раковине пусто. В сушилке пусто. На столе — только травинка и чашка.

Я пью и смотрю в стену. И жду вечера.

Глава 6. Договор

Утром ящик комода открыт.

Не верхний — правый, тот, где лежит письмо. Он выдвинут сантиметра на три. Я запирала его. Ключ лежит в банке из-под чая, банка стоит на полке. Я проверяю: банка на месте, ключ внутри. Ящик всё равно открыт.

Я выдвигаю его до конца. Конверт лежит сверху, не запечатанный. Внутри письмо. Больше ничего. И на конверте — ключ.

Старый, железный, на сером шнурке. Не мой. У меня один ключ от квартиры, один от почтового ящика и один, маленький, от комода. Этот — четвёртый. Он лежит поперёк конверта, как будто его положили специально, чтобы я заметила.

Я беру его. Ключ тёплый. Как будто его держали в руке.

Я стою посреди комнаты и смотрю на него. Потом на ящик. Потом на дверь. Дверь заперта. Я проверяю замок — заперт. Окна закрыты. Батарея горячая. В квартире тихо, обыкновенно, уютно.

— Это ты? — спрашиваю я.

Ничего. Даже скрипа.

Я кладу ключ в карман и иду на работу. По дороге я всё время трогаю его через ткань. Он сначала тёплый, потом остывает, потом снова становится тёплым — как будто его кто-то согревает.

На работе я не могу работать. Я смотрю в рукопись и вижу строчки, но не вижу смысла. Буквы складываются в слова, слова — в предложения, предложения — в пустоту. Я читаю один абзац четыре раза. Потом закрываю файл и открываю снова.

Олег спрашивает:

— Ты сегодня куда-то опаздываешь?

— Нет.

— А чего дёргаешься?

— Ничего.

Он смотрит на меня. Я знаю этот взгляд. Он означает: «Эта девушка скоро слетит». Мне всё равно.

В четыре — планерка. Виктор Аркадьевич сидит во главе стола, перед ним лежит макет обложки нового учебника. На обложке — дети с рюкзаками идут по дороге в школу. Небо голубое, трава зелёная, всё как в рекламе зубной пасты.

— Ветрова, — говорит он. — Ты текст на обороте смотрела?

— Смотрела.

— И?

Я понимаю, что не помню. Не помню, смотрела ли, не помню, что там написано. Я смотрю на макет и вижу только детей с рюкзаками.

— Там надо сократить, — говорит Виктор Аркадьевич. — Два абзаца лишних. Олег, покажи.

Олег открывает ноутбук, разворачивает его ко мне. На

экране — текст. Я читаю первую строчку. Потом вторую. Буквы плывут.

— Ну? — говорит Виктор Аркадьевич.

— Сокращу, — говорю я.

— Когда?

— К понедельнику.

— До понедельника макет должен уйти в печать.

— Значит, к пятнице.

Он смотрит на меня поверх очков. Долго. В кабинете тихо, все смотрят в свои бумаги.

— Ветрова, — говорит он наконец. — Вы в отпуске?

— Нет.

— Тогда будьте здесь.

Он закрывает совещание. Все встают. Олег проходит мимо и говорит тихо, только для меня:

— Ты бы поспала, а?

Я не отвечаю.

В шесть я ухожу. Не жду, пока Виктор Аркадьевич закончит совещание, не отвечаю на письмо с пометкой «срочно». Иду домой. Метро, эскалатор, двор, подъезд, лифт — на этот раз он работает. Седьмой этаж. Дверь. Ключ в замке поворачивается легко, как будто его смазали.

В квартире пахнет сухой травой.

Я включаю свет в коридоре и иду в комнату. Снимаю с мезонина чемодан. Он тяжёлый, пыльный, замки позеленели. Я ставлю его на пол и сажусь перед ним на колени.

Первый замок защёлкнут. Второй — нет. Я помню: вчера он не закрывался. Я пробую ключ. Он входит легко, как будто всегда там был. Поворачиваю. Замок щёлкает.

Крышка открывается. Внутри — свитер, шарф, папка с телефонным договором, билет «Торжок — Москва». Я вынимаю всё. Дно чемодана обтянуто коричневой тканью. Я нажимаю — ткань пружинит. Под ней что-то есть.

Я подцепляю край ногтем. Ткань отходит с сухим треском, как кожица. Под ней — картонная папка, перевязанная суровой ниткой.

Я развязываю нитку. Руки дрожат. В папке — несколько листов, скреплённых степлером. Верхний лист пожелтел по краям, но буквы чёткие, синие, выцветшие до цвета неба в феврале.

«ДОГОВОР

передачи жилого помещения в собственность граждан

г. Москва, 14 октября 1993 года

Мы, нижеподписавшиеся: Ветрова Мария Ильинична, 1938 года рождения, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Бабушкинская, д. 12, корп. 3, кв. 74, именуемая в дальнейшем „Собственник“, и Отдел приватизации жилищного фонда...»

Я читаю медленно, водя пальцем по строчкам. Однокомнатная квартира. Тридцать один и шесть десятых квадратного метра. Кухня — шесть и две. Санузел совмещённый. Седьмой этаж. Девятиэтажный дом. Панель.

«Стоимость передаваемого имущества составляет...» — сумма, которую я не запоминаю. «Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в...»

На последней странице — подписи. «М. И. Ветрова» — и рядом крестик. Короткий, косой, синей ручкой. Я узнаю его. Таким же крестиком бабушка подписывала открытки.

Ниже — подпись представителя отдела приватизации. Размашистая, с завитушкой. Фамилия не читается: то ли Семёнова, то ли Смирнова.

И ещё одна подпись. Третья. Маленькая, в самом низу, на линии, которой нет в договоре. Просто крестик. Такой же, как бабушкин, только меньше. Как будто его поставил ребёнок.

Я смотрю на этот крестик долго.

Я не помню, чтобы я что-то подписывала в 1993 году. Мне было четыре. Я не умела писать. Но крестик — есть.

Я переворачиваю листы. На обороте последнего — штамп: «Управление Департамента жилищной политики». Дата. И размашистая резолюция: «Согласовано».

Я сижу на полу и смотрю на документы. В квартире тихо. Чемодан пахнет нафталином и пылью. Где-то за стеной сосед смотрит телевизор — слышно, как смеются. Я думаю о том, что теперь у меня есть бумага. Бумага, которая доказывает, что эта квартира — моя. Точнее, была бабушкиной, теперь моя, по наследству. Бумага, которая всё решает.

И я думаю о том, что не помню, как эта бумага сюда по-

пала. Вчера я перерыла чемодан. Я вынимала свитер, шарф, папку. Я не видела никакой подкладки. Я бы заметила. Я уверена, что заметила бы.

Я вспоминаю 1993 год.

Мне четыре. Кухня на Бабушкинской, та же самая, только обои другие — с зелёным горошком. За столом сидит женщина в синем костюме. У неё на коленях папка, на папке бланки. Бабушка стоит у окна, сложив руки на груди. Я сижу под столом, потому что мне скучно и потому что под столом есть ножки, которые можно держать.

— Мария Ильинична, — говорит женщина. — Здесь распишитесь. И здесь.

— Что я подписываю?

— Передачу. Квартира теперь ваша. Совсем ваша.

— А раньше чья была?

— Государственная. А теперь ваша.

Бабушка берёт ручку. Долго смотрит на бланк. Потом ставит крестик.

— Что это? — спрашивает женщина.

— Крестик.

— Нужна подпись. Фамилия.

— Я так подписываюсь. — Бабушка поднимает глаза. — Так вернее.

Женщина пожимает плечами. Что-то пишет в своих бумагах. Потом говорит:

— Ну вот и всё. Поздравляю.

Бабушка не отвечает. Она смотрит в окно. За окном октябрь, серое небо, голая рябина.

Я вылезаю из-под стола. Женщина меня замечает:

— А это кто?

— Внучка, — говорит бабушка. — Юля.

— Хорошая девочка.

Я смотрю на женщину. У неё круглые очки и помада цвета варенья. От неё пахнет духами — сладкими, тяжёлыми, как сирень в июне. У бабушки на подоконнике стоял флакон, который она никогда не открывала. Наверное, эти духи. Наверное, бабушка их потом выбросила.

— Ты тоже будешь подписывать? — спрашивает женщина и смеётся.

Бабушка говорит:

— Не надо.

— Да я шучу.

Бабушка берёт меня за руку и уводит в комнату. Её рука сухая и тёплая, с твёрдыми мозолями на ладонях. Я оглядываюсь. Женщина складывает бумаги в папку. На столе остаётся ручка. Синяя, с колпачком.

Я не помню, как её звали. Женщину. Я помню очки, помаду, папку. Не помню имени. Наверное, оно было в документах. Наверное, это она поставила размашистую подпись. То ли Семёнова, то ли Смирнова.

Я звоню маме.

— Нашла, — говорю я.

— Что нашла?

— Договор. Приватизацию. В чемодане, под подкладкой.

Пауза. В трубке — телевизор, как всегда.

— А, — говорит мама. — Она туда всё прятала.

— Ты знала?

— Я знала, что она прячет. Я не знала что.

— Ты была там? В девяносто третьем?

— Была. Я приезжала. — Она замолкает. — Она мне не сказала, что подписывает.

— А женщина? Из отдела приватизации. Ты помнишь, как её звали?

— Какую женщину?

— Которая приходила. В синем костюме. С папкой.

— Юля, я не помню. Это было тридцать лет назад.

— Да.

— Зачем тебе?

— Не знаю. Просто спросила.

Мама вздыхает. Я слышу, как она выпускает дым.

— Ты только это... не копайся там слишком.

— Где?

— В бумагах. Она не любила, когда трогали её вещи.

— Она умерла, мам.

— Всё равно, — говорит мама.

И кладёт трубку.

Я сижу на полу с договором в руках. На улице темно. В окне отражается комната: лампа, диван, я на полу, чемодан.

И ещё что-то. Тёмное, у самого края окна, где должна быть стена.

Я отвожу взгляд. Складываю листы в папку. Перевязываю ниткой. Кладу папку в синюю папку, синюю — на полку. Чемодан ставлю обратно в мезонин. Потом мою руки и сажусь пить чай.

На столе стоит чашка. Полная. Чай горячий. Я не наливала.

Я смотрю на чашку. Потом на чайник. Чайник холодный. Пар над чашкой поднимается ровно, как в рекламе.

— Ладно, — говорю я. — Спасибо.

И тут же замираю. Правило два. Но чай не исчезает. Чашка не звенит. Дом молчит.

Я пью чай. Он сладкий. Я не кладу сахар. Я никогда не кладу сахар. У меня в квартире нет сахара — ни в банке, ни в шкафу, ни в ящике со специями. Я проверяю. Пусто.

Чай сладкий, как бабушкин. Она клала две ложки и ещё одну «на дно», чтобы «дошло». Я в детстве говорила, что это не чай, а сироп. Она говорила: «Это не сироп, это любовь».

Я пью до конца. Мою чашку. Ставлю в сушилку. Ложусь.

И засыпаю сразу, как будто кто-то выключил свет не только в комнате, но и у меня в голове.

Перед сном я успеваю подумать: во вторник надо идти в МФЦ. Надо взять паспорт. Надо встать в восемь. Надо не забыть.

А ещё — что я не помню лица женщины из 1993 года.

Только очки и помаду.

Это ерунда, думаю я. Это было тридцать лет назад. Никто не помнит.

И засыпаю.

Во вторник я иду в МФЦ.

Он на Ярославском шоссе, в новом доме со стеклянными дверями и пандусом. Внутри светло, как в аптеке, и пахнет пластиком. Я беру талон у автомата. А-27. На табло горит А-19. Я сажусь на свободный стул и жду.

Вокруг люди. Пенсионерка с папкой, перевязанной бечёвкой. Мужчина с ребёнком, ребёнок играет в телефоне. Женщина в пуховике, которая всё время перекладывает документы из одной папки в другую. Все ждут. Все пришли с бумагами. У всех одинаковые лица — сосредоточенные и немного виноватые, как будто они что-то должны государству и надеются, что оно не заметит.

А-27. Окно четыре.

Женщина за стеклом молодая, с хвостом, в форменной жилетке. Она берёт мои документы, проверяет паспорт, листает договор. Потом начинает печатать. Кладёт руки на клавиатуру и смотрит в экран.

— Ветрова Мария Ильинична — это ваша бабушка?

— Да.

— Умерла в июне?

— Да.

Она кивает. Печатает. Потом останавливается. Смотрит в

экран внимательнее. Хмурится.

— Странно, — говорит она.

— Что странно?

— У неё стоит отметка «проживает».

— То есть?

— Ну, в базе. Как будто она ещё зарегистрирована. — Женщина пожимает плечами. — Наверное, не выгрузилось. Сейчас поправлю.

Она что-то печатает. Я смотрю на её руки. Ногти короткие, без лака. На безымянном — кольцо.

— А вот ещё, — говорит она. — Тут стоит иждивенец.

— Кто?

— Иждивенец. — Она щурится. — Без имени. Просто отметка. Старая база, наверное. У нас тут половина домов ещё с девяносто третьего года не перебита.

— А можно посмотреть, что там написано?

— Нельзя. — Она улыбается. — Это служебная информация. Но там правда ничего нет. Ошибка.

Она печатает ещё. Потом достаёт штамп, ставит на заявление, расписывается. Протягивает мне бумагу.

— Всё. Договор принят. Свидетельство будет готово через пять рабочих дней. Можете забрать в окне два.

— Спасибо.

— Не за что.

Я выхожу на улицу. Дождь кончился, но воздух мокрый, тяжёлый. Я сажусь на скамейку у остановки. В руках — бу-

мага с штампом. «Принято». Дата. Подпись.

Иждивенец. Без имени.

Я думаю: иждивенец — это тот, кого содержат. Тот, кто живёт за чужой счёт. В квартире, где я живу одна, по документам живёт ещё кто-то. И этот кто-то не имеет имени.

Я складываю бумагу в сумку. Смотрю на остановку. Подходит автобус, двери открываются, никто не выходит. Двери закрываются, автобус уезжает.

Потом я вспоминаю про школу. Не специально. Просто в голове всплывает картинка: класс, окна на юг, солнце, на подоконнике кактус в горшке. Учительница стоит у доски. У неё синее платье и указка. Она что-то говорит, я не слышу что.

Я пытаюсь вспомнить, как её звали. Имя вертится на языке. Анна... Анна Павловна? Кажется, да. А может, и нет. Я не уверена.

Я сижу на скамейке и пытаюсь вспомнить имя женщины, которая учила меня читать. Ничего. Пусто. Как будто в голове открыли ящик, а там пыль и след от клея.

Может, это потому, что я не спала. Может, потому, что устала. Может, потому, что мне двадцать восемь и я не обязана помнить всех учителей.

Я встаю и иду домой. По дороге я ещё раз пробую вспомнить. Не получается.

Дома я достаю синюю папку. Раскладываю фотографии на столе. Бабушка с мамой, мама с коляской, я в саду, я в школе.

Вот первое сентября: я стою с гладиолусами, в белом фартуке, с бантами. Рядом — мама. За кадром — кто-то ещё, чья тень падает на асфальт. Тень длинная, не по росту. Я смотрю на неё и откладываю фотографию.

Вот класс. Тридцать человек, все смотрят в объектив. Учительница сидит в первом ряду, в синем платье. Я узнаю её лицо. Узнаю руки, сложенные на коленях. Узнаю брошь на воротнике — простая, металлическая, в виде листика. Я даже помню, как она пахла: мелом и чуть-чуть валерьянкой. Помню, как она говорила: «Дети, тише». Помню, как она вытирала руки полотенцем после мела.

Я не помню, как её звали.

Я переворачиваю фотографию. На обороте — ничего. Ни даты, ни имён. Только след от клея в углу, как будто её когда-то вклеивали в альбом.

Я сижу над фотографией и повторяю про себя: «Синее платье, брошь, валерьянка». Имя не приходит. Как будто кто-то аккуратно вырезал его ножницами, а края заклеил.

В сушилке стоит чашка. Я трогаю её. Тёплая.

— Это ты сделал? — спрашиваю я.

Дом молчит.

— Ответь.

Тишина. Потом в стене скрипит. Один раз. Коротко.

И всё.

Глава 7. Учительница

В пятницу я просыпаюсь в девять.

Будильник звонил в семь двадцать. Я его выключила. Не помню, как выключала. Помню только, что во сне кто-то сказал: «Ещё пять минут», и я согласилась. Может, это была я. Может, кто-то другой.

На работе я в десять сорок. Виктор Аркадьевич смотрит на часы, потом на меня. Ничего не говорит. Это хуже, чем если бы говорил.

Я сажусь за стол. Открываю рукопись. Читаю абзац. Потом открываю браузер.

«Школа номер девять Тверь». Сайт находится сразу. Фотография здания: три этажа, берёзы, крыльцо с козырьком. Я узнаю крыльцо. Узнаю берёзы. Помню, как весной под ними собирали серёжки, и они пачкали руки. Помню, как на крыльце пахло краской.

Я помню первый класс. Раздевалку, где пахло мокрыми пальто и чужой обувью. Номерки на крючках — жестяные, с цифрами. Коридор с зелёными стенами и лампы дневного света, которые гудели, как большие мухи. Класс: окна на юг, на подоконнике герань в горшке, на стене алфавит, карточки с буквами. Пахло мелом и валерьянкой.

Анна Павловна учила нас держать ручку. Она подходила к парте, наклонялась и поправляла пальцы — своими паль-

цами, сухими и тёплыми. У неё были короткие ногти и морщинка между бровей. Она говорила: «Не дави. Пиши легко. Ручка должна дышать».

Я помню, как писала первое слово. «Мама». Буква «м» получилась кривая, «а» — как домик, вторая «м» — совсем кособокая. Анна Павловна посмотрела и сказала: «Молодец, Юля. Красиво». Я знала, что некрасиво. Но она сказала «красиво», и я поверила.

Я помню её голос. Не слова — голос: низкий, спокойный, чуть хриплый, как у бабушки. Помню, как она читала нам вслух. «Сказку о рыбаке и рыбке», «Дюймовочку», что-то про войну. Мы сидели тихо, а она читала, и в классе было тепло.

Я помню её руки. Помню брошь. Помню, как она стирала с доски мокрой тряпкой и потом вытирала руки о передник.

Я не помню её имени. И когда пытаюсь вспомнить, в голове остаётся белое пятно, как будто кто-то стёр его ластиком.

«Педагогический состав». Учителя начальных классов — молодые женщины, улыбаются. Ни одной, кого я помню. Я листаю ниже. «Ветераны педагогического труда». Фотографии старые, чёрно-белые. Никого.

Я захожу в группу школы в соцсети. «Выпуск 2004». Фотографии, поздравления, «с днём учителя». Я листаю. Где-то на двадцатой фотографии — класс, доска, учительница. Не моя. Другая.

Я возвращаюсь к поиску. Ввожу: «Анна Павловна школа

девять Тверь». Пусто. Ввожу: «Анна Павловна первая учительница Тверь». Пусто. Ввожу просто «Анна Павловна». Тысячи результатов. Все чужие.

Я смотрю на экран и чувствую, как в груди становится холодно. Не от того, что не нахожу. От того, что не помню, как искать.

Я возвращаюсь в группу школы. Листаю дальше. Поздравления, линейки, выпускники. В апреле девятнадцатого года — пост: «Анна Павловна Соколова, учитель начальных классов, отметила восьмидесятилетие». Фотография: пожилая женщина с букетом, в синем платье, с брошью-листиком. Она улыбается. Я узнаю морщинку между бровей.

Анна Павловна Соколова. Я читаю имя и фамилию. Читаю ещё раз. Потом вслух:

— Анна Павловна Соколова.

Ничего. Ровно ничего. Как будто я читаю имя чужого человека в газете.

В комментариях — бывшие ученики: «Спасибо Вам!», «Лучший учитель!», «Помню, как вы меня учили писать». Я ищу свою фамилию. Не нахожу.

Я закрываю ноутбук. Смотрю в стену. Восемьдесят лет. Она жива или была жива шесть лет назад. Она помнит меня? Наверное, нет. У неё были сотни учеников. Я была одной из сотен.

А я не помню её. Вообще.

Я звоню маме.

— Мам, как звали мою первую учительницу?

— Что?

— Первую учительницу. В школе. В Твери.

— Анна Павловна, — говорит мама сразу, без паузы. — Ты что, не помнишь?

Я молчу. Анна Павловна. Имя входит в меня и не задевает ничего. Как будто я читаю его на чужом надгробии.

— Юля?

— Помню, — говорю я. — Конечно, помню.

— Что-то случилось?

— Нет. Просто...

— Просто что?

— Ничего. Спасибо.

— Юля, ты странная в последнее время.

— Я знаю.

— Ты была у врача?

— Мам, я не больна.

— Я не говорю, что больна. Я говорю...

Она замолкает. В трубке работает телевизор — ровный гул, как дождь.

— Ладно, — говорит она. — Анна Павловна. Она тебя любила. Ты у неё лучше всех читала.

— Да?

— Да. Она мне говорила. На родительском собрании. «Юля у вас очень способная». Я тогда гордилась.

Я не помню, чтобы мама мной гордилась. Я вообще не

помню, чтобы она говорила такие вещи.

— Спасибо, мам.

— Не за что.

Она кладёт трубку. Я сижу и смотрю на телефон. Анна Павловна. Человек, который был рядом четыре года. Каждый день. Она учила меня писать. Наверное, вытирала мне слёзы, когда я разбила коленку. Наверное, говорила мне что-то важное. Что-то, что должно было остаться.

Я не помню ничего.

До вечера я работаю. То есть делаю вид. Правлю текст про окружающий мир, ставлю запятые, вычёркиваю лишние абзацы. В какой-то момент ловлю себя на том, что читаю одну и ту же строчку пятый раз: «Дом — это место, где тебя ждут». Я ставлю на полях вопросительный знак. Потом стираю. Потом ставлю снова.

В два часа у меня созвон с методистом. Я о нём забываю. Вспоминаю, когда телефон начинает вибрировать, и беру трубку, не посмотрев, кто звонит.

— Юлия Сергеевна? Здравствуйте. Это Галина Петровна.

Я не помню, кто такая Галина Петровна. Смотрю в календарь. Там написано: «14:00 — созвон с Г. П. по методичке». Написано моей рукой.

— Здравствуйте, Галина Петровна.

— Я вас слушаю.

Я открываю файл. Не тот. Открываю другой. Тоже не тот. В трубке тишина, тяжёлая, как вода.

— Юлия Сергеевна, вы меня слышите?

— Да. Простите. Я открываю.

— Мы договаривались на два. У меня ещё три школы.

— Я понимаю. Простите.

Я наконец нахожу файл. Начинаю читать. Галина Петровна слушает, потом перебивает:

— Это старая редакция.

— Как старая?

— У меня другая. Я вам присылала в понедельник.

Я открываю почту. Письмо от неё есть. В нём вложение. Дата: понедельник, 16:40. Я его не открывала.

— Простите, — говорю я. — Я сейчас.

— Юлия Сергеевна, — говорит она, и в голосе появляется металл. — Мне это неудобно. Я не могу работать, когда...

— Я понимаю.

— Вы понимаете, но не делаете.

Я молчу. Она вздыхает.

— Ладно. Пришлите до конца дня. И пожалуйста, будьте внимательнее.

Она кладёт трубку. Я сижу и смотрю на телефон. Потом на календарь. Потом на файл, который не открывала.

Виктор Аркадьевич подходит к моему столу:

— Что там?

— Ничего. Я исправлю.

— Ветрова, — говорит он тихо. — Ты в порядке?

Я поднимаю на него глаза. Он смотрит без раздражения.

Впервые — с чем-то похожим на беспокойство.

— В порядке.

— Ты в последнее время... — Он подбирает слово. — Рассеянная.

— Я знаю.

— Если что-то дома...

— Всё нормально.

Он кивает. Уходит. Я остаюсь одна.

Олег проходит мимо и говорит:

— Ты сегодня вообще не здесь.

— Я здесь.

— Ты здесь, а голова где?

— Тоже здесь.

— Ага. — Он смотрит на меня. — Слушай, если тебе нужно к врачу, скажи. Я прикрою.

Я поднимаю на него глаза. Он не издевается. Он правда предлагает. И от этого почему-то хуже.

— Спасибо, — говорю я. — Мне не нужно.

— Как хочешь.

Он уходит. Я смотрю ему вслед и думаю: он хороший человек. Наверное. Просто неудобный. Просто чужой.

По дороге домой я захожу в «Пятёрочку». Нужно купить хлеб, молоко и что-нибудь к чаю. Я стою у полки с печеньем и слышу:

— Юленька?

Я оборачиваюсь. У кассы стоит женщина в синем пальто.

Седая, в очках, с сумкой на колёсиках. Она смотрит на меня.

— Простите? — говорю я.

— Юленька, ты?

Я смотрю на неё. Лицо знакомое. Или не знакомое. Морщинка между бровей. Брошь на лацкане — листик. Внутри что-то обрывается.

— Анна Павловна?

— А, — говорит женщина. — Нет. Вы обознались.

Она улыбается. Улыбка вежливая, чужая. Берёт сумку и идёт к выходу. Я стою с печеньем в руках и смотрю ей вслед. Другая походка. Другая спина. Не она.

Но брошь. Брошь была такая же.

Я расплачиваюсь. Выхожу на улицу. Дождь. Иду домой и думаю: это была не она. Конечно, не она. Просто показалось.

А потом думаю: а если она? Если Анна Павловна жива, если она здесь, в Москве, если она узнала меня — и я её не узнала?

Я останавливаюсь посреди тротуара. Люди обходят меня. Кто-то толкает в плечо.

Я не помню её лица. Я смотрела на женщину в синем пальто и не знала, она это или нет.

Вечером я достаю фотографию класса. Кладу её на стол под лампу.

Анна Павловна. Синее платье, брошь-листик. Я знаю, что это она, потому что мама сказала. Но лицо ничего не говорит. Я вижу женщину. Вижу усталые глаза, тонкие губы, мор-

щинку между бровей. Я могу описать её. Я не могу её вспомнить.

Я провожу пальцем по фотографии, как будто можно нащупать.

— Ты помнишь её? — спрашиваю я в комнату.

Тишина.

— Конечно, помнишь. Ты же взял.

В стене что-то щёлкает. Сухо, коротко. Как будто кто-то закрыл ящик.

Я звоню Ире. Поздно, но она не спит — у них с Димой никогда не бывает рано.

— Юль? Ты чего? — Она говорит шёпотом. — Дети спят.

— Ир, ты помнишь свою первую учительницу?

— Конечно. Тамара Петровна. Она была такая... — Ира замолкает. — А почему ты спрашиваешь?

— А мою?

— Откуда я знаю? Мы же не вместе учились.

— Да.

— А что?

— Ничего. Я не помню её имени. Сегодня узнала и не помню.

Пауза. В трубке — дыхание.

— В смысле «узнала и не помню»?

— В прямом. Мама сказала: Анна Павловна. Я услышала. И ничего.

— Ну, мало ли. Стресс. Ты не спала. У тебя, может, вы-

горание.

— Может.

— Соня в этом году тоже пошла в первый класс, — говорит Ира. — У неё Ирина Викторовна. Соня от неё без ума. Говорит, она пахнет духами.

Я молчу. Ирина Викторовна. Чужой человек, которого я никогда не видела, — и я уже запомнила её имя. А своё не могу.

— Юль, серьёзно. Сходи к неврологу. Или к психологу. Я тебе дам номер. У Димы на работе...

— Не надо.

— Почему?

— Потому что это не выгорание.

— А что?

Я молчу. Я не могу сказать: «Потому что я попросила домового найти договор, и он взял мою учительницу». Это звучит как бред. И в то же время это единственное, что имеет смысл.

— Юль?

— Я не знаю, — говорю я. — Просто устала.

— Ты всегда устала.

— Да.

— Приезжай в субботу. Ты обещала.

Я обещала. Я помню, что обещала.

— Приеду, — говорю я.

Но я знаю, что не приеду. Я знаю это ещё до того, как

кладу трубку.

После звонка я сажусь за стол и беру блокнот. Не рабочий. Новый, чистый, с плотной бумагой.

Я пишу: «Что я помню».

Мама — Нина Сергеевна. Тверь. Раз в месяц звонок. Голос низкий, с хрипотцой. Курит на балконе, когда никто не видит.

Бабушка — Мария Ильинична. Умерла в июне. Пироги по субботам. Платье в мелкий цветок. Руки с мозолями. Крестик вместо подписи.

Ира — Мытищи. Дима. Соня, Кирилл. Мультики. Смеётся, когда нервничает.

Олег — работа. Улыбка. Кофе лучше, чем из автомата.

Виктор Аркадьевич — очки. Макет. «Ветрова, вы в отпуске?»

Я пишу и пишу. Имена, имена, имена. Потом останавливаюсь. Смотрю на список.

Анна Павловна. Я пишу её имя в конце. Смотрю на него. Ничего. Ровное синее слово на белой бумаге.

Тогда я пишу: «Я — Юля. Юлия Сергеевна Ветрова. Двадцать восемь лет. Бабушкинская, 12, корпус 3, квартира 74».

Смотрю на это. Это я. Наверное, я.

Я переворачиваю страницу и пишу: «Одноклассники». Двое. Максим Ковалёв — сидел у окна и рисовал на полях. Лена... Лена что-то. Фамилию не помню. Лицо помню: круглое, веснушки, белый бант. Имя не помню. Я смотрю на пу-

стое место и чувствую, как там холодно.

— Что ты ещё забрал? — спрашиваю я вслух.

Тишина.

— Ты забрал учительницу. Что ещё?

Холод на затылке. Лёгкий, как прикосновение пальца. Я не оборачиваюсь. Правило восемь.

— Я не сердилась, — говорю я. — Я просто спрашиваю.

Тепло на плече. Осторожное, как будто он не уверен, можно ли. Я сижу не двигаясь. Тепло держится дольше, чем обычно. Потом уходит.

— Я не буду больше просить, — говорю я.

Тишина. Потом скрип. Один раз. Как будто он сказал что-то. Я не знаю что.

Я закрываю блокнот. Кладу его в правый ящик комода, туда же, где письмо. Запираю. Ключ — в банку из-под чая. Теперь там два ключа: мой и тот, железный, на шнурке. Я не знаю, зачем я его храню. Может, потому что он тёплый.

Ложусь в постель. Смотрю в потолок. Трещина на месте. За окном идёт дождь, мелкий, осенний, без конца и края.

Я думаю: завтра суббота. Ира ждёт. Соня покажет танец. Кирилл скажет «дай». Я должна поехать.

Я представляю, как встаю утром, еду в Мытищи, сижу на их кухне, пью чай. Как Соня кружится в гостиной. Как Ира спрашивает: «Ну как ты?» И я говорю: «Нормально». И это будет ложь, но такая привычная, что её никто не заметит.

Я представляю это так ясно, что почти верю.

А потом вспоминаю лицо Анны Павловны на фотографии. Женщину, которую я вижу первый раз в жизни.

Я лежу и слушаю квартиру. Не пусто — тихо. Пустая тишина звенит, а эта дышит. Я не знаю, чем она дышит. Но я слышу.

— Я не поеду, — говорю я вслух.

И засыпаю.

Глава 8. Чужая комната

В субботу я не еду к Ире.

Утром я беру телефон и долго смотрю на её сообщение: «Жду вас к двенадцати. Соня волнуется». Потом пишу: «Прости. Приболела. В другой раз». Ира отвечает сразу: «Выздоравливай. Целую». И присылает стикер — котёнок с сердечком.

Я кладу телефон экраном вниз.

Потом встаю и начинаю убираться. Не потому, что грязно. Просто руки просят дела. Я мою пол в коридоре, в кухне, в комнате. Вытираю пыль с полок. Меняю постельное бельё. Стираю шторы. В квартире пахнет мылом и мокрой тканью. За окном серо, но сухо — первый за неделю день без дождя.

Бабушка мыла пол каждую субботу. С самого утра. С ведром, серым хозяйственным мылом и тряпкой, которую потом выкручивала во дворе. Она говорила: «Чистота — она от страха». Я не понимала. Спрашивала: «От какого страха?» Она говорила: «От всякого». И тёрла паркет, пока он не начинал блестеть, как в музее. Потом садилась на табуретку и говорила: «Ну вот. Теперь можно и умереть». Я смеялась. Она тоже.

Теперь я стою с ведром и думаю: может, она не шутила.

На кухонном столе стоит пачка соли. Большая, серая, каменная, непочатая. Бабушка покупала такую на рынке. Я её

не покупала. Я вообще не помню, чтобы она здесь была.

Я беру её и сажусь на корточки у порога.

Правило семь: соль под порог. Меняй раз в месяц. Не спрашивай зачем.

Я насыпаю тонкую полоску. Соль шуршит, как песок. Получается криво. Я разравниваю пальцем. Потом сижу на корточках и смотрю на эту полоску. Она похожа на снег, который ещё не растаял.

— Ну вот, — говорю я. — Теперь у нас порядок.

«У нас». Я замечаю это слово только когда оно уже сказано. У нас. Как будто мы правда вдвоём.

Я встаю, отряхиваю колени и иду на кухню. Там тоже надо убрать. Я выдвигаю ящики, протираю полки, перебираю банки. Крупы, макароны, чай, кофе. Бабушкины запасы: три пачки соды, две — разрыхлителя, банка с лавровым листом, которая стоит с тех пор, как я себя помню.

— Ты знаешь, что она никогда не выбрасывала лавровый лист? — говорю я вслух. — У неё был культ лаврового листа. Она клала его во всё. Даже в компот.

Тишина. Потом за спиной тихо скрипит половица.

— Ага, — говорю я. — Смешно.

Я мою чашки. Все три. Белые, с синей каймой. Одну за другой. Ставлю в сушилку. Потом достаю четвёртую — ту, которую мыла вчера. То есть не мыла. Она уже стоит в сушилке. Чистая.

— Слушай, — говорю я. — Ты не мог бы не трогать по-

суду? Я всё-таки хочу знать, где что лежит.

Тишина. Потом — очень тихо — скрип. Как будто половица переступила с ноги на ногу.

— Ладно, — говорю я. — Можешь трогать. Но ставь на место.

Скрип. Один раз. Коротко. Как будто «хорошо».

Я сажусь на табуретку и смотрю в окно. Во дворе мальчик гоняет мяч. Мяч стукается о стену, отскакивает, мальчик ловит. Стук-скок. Стук-скок. Ритм, как метроном.

— Я знаешь что думаю? — говорю я. — Я думаю, что схожу с ума. По-настоящему. Тихо, аккуратно, без криков. Просто сижу на кухне и разговариваю с половицей.

Половица молчит.

— Но с другой стороны, — говорю я, — если я схожу с ума, то это очень вежливое сумасшествие. Ты моешь посуду. Ты находишь договор. Ты не пугаешь меня по ночам. Ты, в общем, лучше некоторых людей.

Я замолкаю. В квартире тихо. Мальчик во дворе промахивается, мяч укатывается под машину. Мальчик бежит за ним, наклоняется, достаёт.

— Только не думай, что я тебя люблю, — говорю я. — Я тебя терплю. Это разные вещи.

Тепло ложится на плечо. Осторожно, как ладонь. Я не оборачиваюсь. Правило восемь.

— Ладно, — говорю я. — Можешь остаться.

Тепло держится ещё секунду. Потом уходит.

После обеда я разбираю бабушкино пальто. То самое, зимнее, которое я не отдала в церковь, — оно висит в шкафу, серое, с каракулевым воротником, с потемневшими пуговицами. Я достаю его и кладу на стол. Пахнет нафталином и чем-то ещё, слабым, тёплым. Духами? Нет, бабушка не душилась. Мылом.

Я проверяю карманы. В правом — перчатка, одна. В левом — сложенный носовой платок и трамвайный билет. Билет старый, на нём напечатано «2 рубля». Я смотрю на него и вспоминаю, как бабушка ездила на трамвае на рынок. Она всегда садилась у окна и смотрела на дома, как будто видела их в первый раз.

Я надеваю пальто. Оно тяжёлое, широкое, пахнет бабушкой. Рукава длинные. Я стою посреди комнаты в её пальто и смотрю в зеркало. В зеркале — я, но как будто меньше. Как будто девочка, которая надела взрослую одежду.

Бабушка надевала это пальто, когда вела меня в школу. Зимой, в мороз, застёгивала на все пуговицы, поднимала воротник и брала меня за руку. Мы шли до остановки, и она говорила: «Не беги, лёд». Я всё равно бежала. Она ругалась. Потом покупала мне горячий чай в автомате у метро — в пластиковом стаканчике, с крышкой. Я обжигалась и говорила, что чай вкусный. Она говорила: «Не ври». И улыбалась.

— Юленька, — говорю я бабушкиным голосом. — Иди есть.

Голос выходит плохо. Я снимаю пальто, складываю, кладу

в шкаф. Перчатку оставляю на столе. Одну перчатку. Вторую я так и не нашла.

В шкафу висят её платья. Четыре. Синее в мелкий цветок, серое, коричневое и парадное, чёрное, с блестящей брошью у ворота. Я вынимаю синее. Ткань мягкая, вытертая на локтях. Пахнет бабушкой — мылом и чем-то тёплым.

Я снимаю свитер и надеваю платье. Оно велико в плечах и узко в талии. Молния не сходится на середине. Я стою перед зеркалом. Платье висит на мне, как штора. Рукава длинные, ворот широкий.

Я поднимаю руки, как будто танцую. Делаю шаг. Платье шуршит. Я представляю, как бабушка ходила в нём по этой комнате: поправляла скатерть, вытирала пыль, выглядывала в окно. Она была в этом платье на Новый год, когда мне было десять. Помню запах мандаринов и то, как она смеялась. Она редко смеялась.

Я делаю ещё шаг. Потом останавливаюсь. Мне становится стыдно. Как будто я залезла в чужую жизнь и примеряю её.

Снимаю платье. Вешаю обратно. Разглаживаю складки. Тепло ложится на плечо. Я не оборачиваюсь.

— Я знаю, — говорю я. — Она была хорошая.

Тепло держится. Потом уходит.

Вечером звонит Ира.

— Ты как? — спрашивает она.

— Нормально.

— Температура есть?

— Нет. Просто горло.

— Ага. — Пауза. — Соня расстроилась. Она приготовила для тебя рисунок.

— Передай ей, что я приеду в следующий раз.

— Она сказала: «Тётя Юля всегда говорит „в следующий раз“».

Я молчу. В трубке слышно, как Ира ходит по кухне, гремит посудой.

— Юль, — говорит она. — Ты правда болеешь?

— Правда.

— Ладно, — говорит она. — Выздоравливай.

Мы прощаемся. Я кладу телефон и смотрю на него. Потом на перчатку на столе. Потом на соль у порога. Потом на чашку в сушилке.

Комната выглядит чужой.

Не потому, что я её убрала. Наоборот. Всё стоит на своих местах, всё чисто, всё правильно. Но я смотрю на неё из коридора, и мне кажется, что это не моя комната. Что я здесь гость. Что настоящий хозяин — не я.

Я вхожу. Сажусь на диван. Одеяло лежит на спинке, сложенное вдвое. Я его не складывала.

Я смотрю на комнату и пытаюсь понять, что изменилось. Стол, диван, шкаф, телевизор. Всё на местах. Но места другие. Как будто кто-то переставил не вещи, а воздух между ними.

— Это ты? — спрашиваю я.

Тишина.

— Ты складываешь одеяла?

Тишина. Потом — тепло на затылке. Не на плече. На затылке. Как будто кто-то стоит за спиной и дышит.

Я не оборачиваюсь. Сижу очень прямо.

— Знаешь что, — говорю я. — Я не знаю, кто ты. Я не знаю, что ты. Я не знаю, зачем ты здесь и что тебе от меня надо. Но я больше не буду делать вид, что тебя нет.

Дом молчит.

— Я буду с тобой разговаривать. Не потому, что я верю. А потому, что мне так легче. Понял?

Тепло на затылке становится чуть сильнее. Потом проходит.

— И ещё, — говорю я. — Я не буду называть тебя домовым. Это как-то... по-дурацки. И имени у тебя нет, я помню. Так что будешь просто «ты». Ладно?

Тишина. Потом в стене что-то щёлкает. Один раз. Как будто кто-то поставил чашку на полку.

— Ладно, — говорю я. — Вот и договорились.

Ночью я не могу уснуть. Лежу, смотрю в потолок, слушаю. Дом не скрипит. Дом молчит. И это молчание не пустое. Оно выжидающее. Как будто кто-то сидит в темноте и ждёт, что я скажу.

— Ты не спишь? — спрашиваю я.

Тишина. Потом — очень тихо — скрип. Один. Короткий.

— Я тоже.

Я поворачиваюсь на бок. Смотрю на окно. За окном фонарь, голые ветки, жёлтый свет на стене.

— Расскажи мне что-нибудь, — говорю я. — Нет, ты не можешь. Я знаю. Тогда я расскажу.

И я рассказываю. Про работу. Про Галину Петровну, которая на меня наорала. Про Виктора Аркадьевича, который спросил, всё ли дома нормально. Про Олега, который приносит кофе. Про Иру, которая ждёт меня в субботу, а я не еду. Про Соню, которая приготовила рисунок. Про учительницу, которую я не помню.

Я говорю и говорю. Слова идут сами, легко, как будто я давно хотела их сказать. Дом слушает. Я знаю, что он слушает. Он не перебивает, не советует, не вздыхает. Он просто есть.

Когда я замолкаю, в квартире становится очень тихо. Потом на плечо ложится тепло. Я не оборачиваюсь. Я лежу и чувствую, как оно держится. Долго. Дольше, чем обычно.

— Ты был человеком? — спрашиваю я.

Тишина. Потом — холод у виска. Короткий, один раз.

— Нет? — говорю я. — То есть ты никогда не был человеком.

Холод повторяется. Один раз. Я смотрю в потолок и думаю: значит, не привидение. Не душа. Что-то другое. Что-то, у чего нет имени.

— А откуда ты взялся?

Тишина. Долгая. Потом в стене скрипит. Один раз. Не как

«да» и не как «нет». Просто скрип. Как будто он не знает ответа. Или не хочет говорить.

— Ладно, — говорю я. — Не хочешь — не надо.

Я поворачиваюсь на бок.

— А тебе здесь нравится? — спрашиваю я. — В этой квартире?

Тепло. На плече. Долгое.

— А со мной?

Тепло становится сильнее. Потом уходит. Я лежу и улыбаюсь в темноте. Мне не хочется улыбаться. Но я улыбаюсь.

— Только не привыкай, — говорю я. — Я могу передумать.

Тепло возвращается. Коротко. Как будто он смеётся. Если он умеет смеяться.

— Спасибо, что слушаешь, — говорю я.

И тут же замираю. Но тепло не уходит. Оно остаётся. И я думаю: может, это не считается. Может, «спасибо» за то, что слушал, — не просьба. Может, он понимает разницу.

Я закрываю глаза. Тепло на плече. Дом молчит. Мне не страшно. Мне... спокойно. И это спокойствие пугает меня больше, чем всё остальное.

Утром я просыпаюсь под одеялом, которым не укрывалась. Оно лежит на мне ровно, до подбородка, как укрывают детей. Я лежу и смотрю в потолок. Трещина на месте.

Я вспоминаю правила. Все восемь. Не просить в полночь. Не благодарить вслух. Не называть по имени. Не оставлять

балкон открытым. Если пахнет гарью — молчи. Не просить за других. Соль. Не оборачиваться, если он греет плечо.

Я повторяю их шёпотом, как молитву. Дом молчит. Он не подтверждает и не возражает. Правила — это не его слова. Это бабушкины слова. Может, они неправильные. Может, он вообще не знает, что они существуют.

Я встаю. Иду в коридор. Соль на месте — тонкая серая полоска, ровная, как будто её никто не трогал. Я смотрю на неё и чувствую странное удовлетворение. Как будто провела черту и теперь за неё нельзя.

— Ладно, — говорю я. — Правила так правила.

На кухне меня ждёт чашка. Полная. Чай горячий, сладкий.

Я сажусь за стол. Беру чашку. Пью.

— Ладно, — говорю я. — Живи.

И дом отвечает. Не скрипом. Не холодом. Теплом. Ровным, спокойным, как батарея зимой.

Я пью чай и смотрю в окно. Во дворе уже светло. Мальчик с мячом ещё не вышел. Голые ветки, серое небо, жёлтый лист на подоконнике.

Я больше не одна. Я не знаю, кто со мной. Но я больше не одна.

Часть вторая. Зима. Привыкание



Он не умеет отказывать. Это не милость. Это голод.
Мария Ильинична Ветрова, из записок

Глава 9. Снег

Первый снег выпадает в ночь на двадцать четвёртое ноября.

Я узнаю об этом утром, ещё до будильника: в окне светлее, чем должно быть. Я отодвигаю штору. Двор белый. Машины белые. Деревья стоят в снегу, как в вате. Дворник уже скребёт лопатой, и звук идёт по стене, ровный, металлический, как метроном.

Я стою у окна в футболке и смотрю. В прошлом году я тоже смотрела на первый снег — из своей съёмной квартиры на Первомайской. Тогда я подумала: «Надо купить сапоги». И не купила. Сапоги промокли к декабрю.

В соседнем дворе кто-то чистит машину. Скребок визжит по стеклу, как нож по тарелке. Я смотрю на окна напротив. В одном горит свет, и за ним видно кухню: стол, чайник, человек в пижаме. Обычная жизнь. Я думаю: если бы я могла заглянуть в своё окно со стороны, что бы я увидела? Женщину в футболке, которая стоит и смотрит. И больше никого.

Теперь я думаю: «Надо купить сапоги». И понимаю, что это первый раз за много месяцев, когда я думаю о будущем. Пусть даже о сапогах.

На кухне тепло. Батареи греют так, что можно ходить босиком. Я варю кофе, сажусь за стол. На столе — тетрадь. Тонкая, в клетку, с надписью на обложке, сделанной моей рукой:

«Что я забыла».

Я завела её две недели назад. После того, как не смогла вспомнить, как зовут соседку с четвёртого. Галина. Я знала, что её зовут Галина, но в тот момент, когда она поздоровалась, в голове было пусто. Я стояла с пакетом и улыбалась, как дура. Потом весь день повторяла: «Галина, Галина, Галина». К вечеру имя снова было на месте.

Тогда я решила записывать. Всё, что забываю. Чтобы знать масштаб.

Я открываю тетрадь. Первые страницы исписаны аккуратно, по линейкам.

«12 ноября. Не помню, куда положила паспорт. Нашёл он. Не спала».

«14 ноября. Потеряла серёжку. Бабушкину, с камнем. Нашёл он. В ванной, на полке, хотя я там смотрела. Не спала».

«16 ноября. Замок в двери заело. Починил. Не спала. Утром забыла, как зовут автора рукописи. Вспомнила через час».

«18 ноября. Попросила, чтобы автобус пришёл. Он пришёл. Не спала. Забыла, какой сегодня день недели».

«20 ноября. Попросила, чтобы мама не звонила на выходных. Не позвонила. Не спала. Утром забыла, как зовут соседку с четвёртого. К обеду вспомнила. Галина».

Я смотрю на эту последнюю запись дольше остальных. Я не помню, как просила. Не помню, что говорила. Помню только, что в субботу утром было тихо, и я была этому рада.

Так тихо, что слышно было, как в трубах идёт вода.

Я смотрю на остальные записи. Ровный почерк, как у школьницы. Я никогда не писала аккуратно. Бабушка говорила: «У тебя почерк, как у врача». Теперь пишу аккуратно. Наверное, потому что боюсь забыть, что написала.

Внизу страницы — итог. Я подвожу его каждое воскресенье, как бабушка подводила бюджет в общей тетради.

«Просьб: 14. Ночей без сна: 14. Забыто: 6 имён, 3 адреса, 2 номера телефонов».

Я закрываю тетрадь и убираю её в ящик. Одеваюсь. И не могу найти перчатку. Левую. Правая лежит в кармане пальто, левой нет. Я смотрю на полку, под вешалкой, в сумке. Потом говорю, не повышая голоса:

— Найди.

И стою.

Через минуту вижу её на батарее в комнате. Она лежит сверху, на бельевой верёвке, которую я натянула сушить бельё ещё в октябре. Я не вешала туда перчатку. Я вообще не помню, чтобы её снимала.

Я надеваю перчатку. Она тёплая. Не как от батареи. Как от руки.

В тетради я потом запишу: «24 ноября. Перчатка. Не спала». И подчеркну «не спала» дважды. Не знаю зачем. Наверное, чтобы помнить, что это не бесплатно.

На четвёртом этаже я встречаю Галину. Она стоит с сумкой, в пуховике, шапка набок.

— Юля, здравствуйте. Холодно-то как, а?

— Здравствуйте, Галина.

Я говорю её имя уверенно, как человек, который знает, что говорит. Галина улыбается. Я иду дальше и думаю: я вспомнила его не потому, что помню. Я вспомнила его потому, что записала. Это разные вещи. Это очень разные вещи.

На улице холодно. Снег лежит на земле тонким слоем, ещё не грязный, белый, как в кино. Я иду к метро и смотрю под ноги. Снег скрипит. Я люблю этот звук. Он был в детстве. Бабушка говорила: «Снег скрипит — значит, мороз будет». Я говорила: «А если не скрипит?» Она говорила: «Значит, снег добрый».

В метро тепло и тесно. Люди в зимних куртках, с шапками, с мокрыми следами на полу. Я стою у двери и смотрю в стекло. В отражении — я в сером пальто, с пучком. За спиной — вагон, огни, люди. И ещё что-то. Тёмное, у самой рамы. Я уже не вздрагиваю. Я просто отвожу взгляд.

На работе — предновогодняя суета. Виктор Аркадьевич ходит по коридору и говорит всем: «До конца года успеть». Олег сидит напротив и строчит письма. У него новая стрижка и новый телефон. Он всё время кладёт его на стол экраном вверх.

— Ты в курсе, что после Нового года будет новый проект? — спрашивает он.

— Какой?

— Учебник для пятых классов. Виктор Аркадьевич хочет,

чтобы им занимался я.

— Хорошо.

— А ты? Ты чем будешь заниматься?

— Тем же, чем сейчас.

— Ага. — Он смотрит на меня. — А я думал, ты тоже захочешь.

Я не отвечаю. Я знаю, что он скажет дальше. Он скажет, что я стала медленной, что я ошибаюсь, что Виктор Аркадьевич недоволен. Он не скажет это прямо. Он скажет так, чтобы я сама догадалась.

Но он молчит. Смотрит на меня и молчит. Потом говорит:

— Ты выглядишь уставшей.

— Я всегда выгляжу уставшей.

— Нет. Раньше ты выглядела злой. А теперь как будто... — Он подбирает слово. — Как будто тебе всё равно.

Я смотрю на него. Мне хочется сказать: «Мне не всё равно. Просто я не сплю уже неделю. И ещё я забываю имена. И адреса. И ещё я разговариваю с квартирой». Я говорю:

— Может, и всё равно.

Он пожимает плечами. Возвращается к компьютеру.

В одиннадцать меня вызывает Виктор Аркадьевич.

У него на столе — распечатка. Страница про насекомых и пауков. Одно предложение обведено красным: «У паука шесть ног».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.